Можно я побуду счастливой?

Автор:
Мария Метлицкая

Можно я побуду счастливой?

Мария Метлицкая

Женские судьбы. Уютная проза Марии МетлицкойЗа чужими окнами

Эта книга – о женщинах, родившихся в СССР, которым выпало «жить в эпоху перемен».

В юности они мечтали о флакончике «Может быть», сами варили помаду, шили одежду, которую было не отличить от творений модных дизайнеров, потому что купить все это в эпоху дефицита было невозможно, а быть красивыми очень хотелось.

В зрелом возрасте они рожали детей в советских роддомах, где из медикаментов подчас были лишь бинт и зеленка, стояли в бесконечных очередях, а Париж видели только в передаче «Международная панорама».

Но они не теряли оптимизма и женственности – влюблялись, расставались, совершали безрассудства ради любимых.

Так что эта книга – о счастливых женщинах. О том, что тем, кто любит жизнь, она в конце концов отвечает взаимностью.

Мария Метлицкая

Можно я побуду счастливой?

Моей маме, моим подругам и соотечественницам – женщинам, рожденным в СССР

© Метлицкая М., 2016

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2016

* * *

Мне всегда было интересно выдумывать сюжет, погружаться в повествование, где я – полноправная хозяйка. Хочу – казню, хочу – милую.

А тут впервые захотелось написать о собственной жизни, о бабушке и маме, родившихся и живших в СССР, разделивших со своими современницами трудности и невзгоды и – все равно умевших быть счастливыми, несмотря ни на что и вопреки всему. А еще – жить ради своих близких, любить их бескорыстно и беззаветно. Иногда – ни за что.

Об этом – первая часть книги, «Дневник женщины среднего возраста». Это, конечно, не дневник в буквальном смысле слова, скорее история жизни.

В этой книге очень много историй о быте. Женская жизнь всегда связана с ним – будь он неладен! Но без быта невозможно, потому что женщина прежде всего вьет гнездо, устраивает повседневную жизнь своих близких. И наверняка, читая эти страницы, вы вспомните собственные истории, истории собственных мам и бабушек. Надеюсь, что это будут самые теплые, самые милые сердцу воспоминания.

С героиней второй части книги, «Остров Прекрасной Елены», судьба свела меня совершенно случайно, но, как часто бывает, эта случайная встреча оказалась для меня очень важной. Судьба Елены необычна, это как раз тот случай, когда подлинная история гораздо интереснее придуманной, потому что такое

невозможно придумать.

Книга эта – восхищение, преклонение, восторг перед моими соотечественницами, сверстницами, с их вечным терпением и терпимостью, смиренностью и громким, звенящим бунтом, с силой и мощью их натуры, великодушием. А еще – с открытостью, искренностью, состраданием. С их упорством и верой, талантом и работоспособностью, умением проходить сквозь стены и раздвигать руками огромные горы. С нежностью, бескорыстием и вечным стремлением быть любимыми.

И конечно, эта книга о том, как можно изменить свою жизнь. Перевернуть. Переделать и вновь сотворить, обнулив предыдущую. При самых малых, мизерных возможностях. При полном отсутствии денег. Имея только талант и веру. Ну и, конечно, друзей-сподвижников, соавторов судьбы, единомышленников.

Ведь если веришь в себя, то в тебя поверят другие. Заразительное это дело – одержимость, настойчивость, трудолюбие, вера, талант. Как ветрянка, наверное.

В общем, жизнь начинается даже не в сорок, как было однажды нам сказано. И к пятидесяти можно начать!

В Плесе, где живет моя героиня, я научилась любить и понимать свою родину. Стала больше верить в людей. Я удивилась и обрадовалась, что сохранила способность удивляться – большое спасибо Лене еще и за это!

Наши российские женщины – основа всего. Нигде, уверена – нигде! – нет таких женщин!

Так сложилось исторически. Ведь где война и беда – там спасает она, женщина: провожает на пороге и ждет, когда вернется муж, брат или сын. А войн и бед нашим современницам выпало немало.

Пережито многое… И многое впереди. Но я в нас верю. Мы снова прикроем, закроем, спасем и утешим – теплом и любовью, верой и верностью.

Дневник женщины средних лет

В июле, в самом конце пятидесятых, на Арбате, в знаменитом роддоме имени Грауэрмана родилось некоторое количество младенцев. Среди них была и я. Спасибо всем, кто принимал в этом участие, дело это было, как я понимаю, совсем непростое.

В общем, началась жизнь.

Истоки, дед и бабушка

Моя бабушка Софья Борисовна Метлицкая была человеком необыкновенным. Думаю, что все лучшее, что есть в нас, женщинах нашей семьи, – конечно же, от нее. Ее бесконечно трагичная судьба похожа на многие другие.

Родилась она в еврейском местечке под Минском. Мой прадед, ее отец, брал в аренду мельницу, и с этого кормилась большая семья. Был он невысокого роста, широк в плечах, очень ярок и красив лицом. К слову, – чудеса! – мой сын, его праправнук, многое взял от него, и не только внешность. Говорили, прадед был строг, немногословен и слегка скуповат. Может, расчетлив? Ответственен за родных, за большую семью? Много читал: философские книги, исторические, религиозные. Был человеком образованным, искал смысл жизни. Отличался сдержанностью и ироничностью – мнение ценил только свое. К служителям культа относился с пренебрежением и недоверием – говорил, что почти все они нечисты на руку, что между человеком и богом посредников быть не должно. Религиозным он не был – субботу не соблюдал.

Моя прабабушка Мария, Марьяся, как называл ее прадед, была женщиной тихой, мягкой, изящной и милой, хотя красотой не блистала. Мужу никогда не перечила – никогда! Вела хозяйство и растила троих детей – двух дочек и сына. По рассказам бабушки, у них был хороший, крепкий дом и, конечно, прислуга – девчонка из местных. Она помогала по хозяйству и в огороде. Подозревали, что тихой и покладистой своей Марьясе муж изменял. А она, если спрашивали, есть ли у нее на сей счет сомнения, смеялась, махала рукой и бесшабашно и

легкомысленно отвечала: «Не мыло – не измылится». Почему она была так беспечна? Муж-то красавец! Думаю, что не ощущала угрозы – о разводе тогда никто не думал вообще. Ну завел мужик интрижку – и что? Семья есть семья! К тому же трое любимых детей. Вот и была тихая Марьяся спокойна.

Моя бабушка, их дочь Софья, лицом пошла в своего отца – выросла красивой и яркой. Да и характер, думаю, тоже был как у прадеда – нетерпелива, вспыльчива и очень решительна. Потому и замуж выскочила в шестнадцать лет – особенно не рассуждая. Хотелось в столицу, в большой город, хотелось свободы – отец был строг и держал дочек-красавиц в ежовых рукавицах. Да и время было жуткое, тревожное, смутное – 20-е годы.

Избранником бабушки оказался молодой судья из Минска. Уехали, обосновались в маленьком городке Червине. Муж там работал судьей, а бабушка в семнадцать родила сына и – затосковала.

Муж ее, пламенный борец за справедливость, писал письма отцу народов о несправедливости общества, просил «принять меры». К тому же был глуповат.

Позже они переехали в Минск – муж получил должность старшего судьи. Ну, жили себе и жили, однако через пару лет после переезда бабушка моя легкомысленная влюбилась. Ее новый избранник, Стефан Ивашкевич, был очень хорош собой. Голубоглазый блондин, со скульптурным лицом суровой и твердой лепки. Но – женат. Начались годы страданий, слез, расставаний и новых встреч. Думаю, что это была большая страсть, никак иначе.

Вскоре бабушку с мужем перевели в Москву, где он получил хорошую должность – замначальника в Наркомпросе. Дали им и квартиру – отдельную, где-то на Войковской. Бабушка отправилась туда на трамвае. Ехала часа полтора. Поначалу, выйдя на улицу, тут же захотела вскочить в трамвай и уехать обратно. Но любопытство победило, и квартиру смотреть пошла. Говорила, что та оказалась большой и просторной – дворец, а не квартира, хоть на велосипеде катайся. Но вселяться туда бабушка отказалась. Согласились на две комнаты в коммуналке, в самом центре. На Кировской – куда уж центральнее. Там, в доме номер двадцать четыре, родилась моя мама.

А роман с моим будущим дедом все продолжался. Он часто приезжал в Москву в командировки. Встречались они в гостиницах – чаще всего в «Национале».

История эта затянулась на долгие десять лет. Первый бабушкин муж об адюльтере узнал – сообщили, но претензий не предъявлял – умолял не бросать его, не разводиться. Понятно, что такая слабость мужской натуры была страстной бабушке не по душе – мужа своего она теперь еще и откровенно презирала. Решила все беременность – любовник тут же развелся и переехал в Москву.

Они сошлись. Поначалу жили в одной квартире с бабушкиным первым мужем – тогда это было вполне нормальным явлением. Вдуматься – ужас! Утром у туалета или раковины сталкиваться нос к носу со счастливым соперником, который только что обнимал твою бывшую, но все еще любимую жену. Но как-то жили и морды друг другу не били. Даже за стол садились все вместе.

В одной комнате жили дедушка с бабушкой – молодожены. В другой – брошенный муж, их общий с бабушкой сын и домработница. Услышав про домработницу, я удивилась. Бабушка махнула рукой: «Да что ты! Домработницы тогда были у всех. Даже у самых бедных». Деревенские девушки сбегали из сел от голода и невыносимых условий. В столице платили им сущие копейки, но колхоз не платил и этого – были лишь трудодни. В городах им давали кров и обеспечивали питанием – ели все вместе, за общим столом, деньги от зарплат они собирали.

Потом наконец разъехались – первый муж бабушки уехал снова в Минск, вскоре удачно женился и прожил о-о-очень долгую и спокойную жизнь.

Кстати, еще про мою затейницу бабушку. Имена своим детям дала она нетрадиционные, скажем так. Сына назвала Владиленом, а маму мою – куда хлеще для тех времен – Эвелиной. Это сейчас полно Эвелин, а тогда мама стеснялась своего имени. Представлялась Инной. Ну и плюс отчество – Эвелина Стефановна. Кем только не была она за свою трудовую биографию – и Инной Степановной, и Эльвирой, и Элеонорой.

Брат ее тоже Владиленом не остался – назвал себя Владимиром. А дома его звали Леней. Такая вот путаница из-за сложностей, придуманных бабушкой.

К слову, про имена. Дочек своих мама назвала просто: я – Маша, сестра – Катя. Сотрудница ее как-то недовольно заметила, обидевшись за меня и сестру: сама Эвелина! А дочки? Крестьянки! Фантазии вам не хватило?

В 37-м родилась моя мама.

Деда забрали, когда маме моей было восемь месяцев от роду, а бабушке двадцать восемь лет. Замуж она больше не вышла, хотя звали, и не раз. Звал и первый муж, который после ареста соперника резко активизировался.

Вот что бабушка рассказывала об аресте деда.

Он был в командировке, в Киеве. Дал телеграмму – встречай рано утром. К ним пришли накануне. Не поверили, что деда нет. Спросили – где прячешь? Бабушка протянула телеграмму. Те прошлись по квартире. Проверили. Поверили. Ушли. Пришли рано утром следующего дня. Сели в прихожей. Потом переместились в комнату. Раздался звонок в дверь. Соседка выскочила предупредить, но не успела – следом за ней выскочил и гэбэшник. Цыкнул и сильно толкнул локтем: «Туда захотела?»

Бабушка протянула мужу сложенный рюкзак – носки, смену белья, рубашку. Попрощались взглядом – обняться не дали – не положено врагам отчизны обнимать своих близких. Подойти к дочке тоже не дали: какая дочка, если с тобой самим пока не все ясно? Полгода бабушка ходила в тюрьму, в Бутырку. Отстаивала дикие очереди с такими же, как она. Носила деньги и передачи. А однажды ей сказали: «Все. Больше не приходите – осу?жден. По пятьдесят восьмой. Десять лет без права переписки».

Я как-то спросила ее:

– Ты понимала?

Она ответила:

– Наверное, да. Но продолжала надеяться. Вдруг? Ждала и после войны – вздрагивала на каждый стук, каждый звонок.

«Вдруг» не случилось.

У бабушки не просто отняли любимого человека, защитника, мужа, кормильца. У нее, двадцативосьмилетней, отняли судьбу. Женскую жизнь. Деду моему в

момент ареста было тридцать семь лет.

В 90-е нам позвонили из общества «Мемориал», пригласили в архив КГБ на Кузнецком, где выдали дело маминого отца, моего деда, Стефана Ивашкевича. Дело это было тоненьким, коротким. Гораздо короче, чем его короткая жизнь. Зафиксировано, что после трех допросов он во всем признался – наверное, кончились силы.

На крошечной фотографии лицо совершенно замученного и сломленного человека – глаза, молящие о смерти и избавлении.

Мама плакала и приговаривала:

– Бедный мой папочка!

В тоненькой картонной папочке был приклеен конверт: «Не вскрывать!» Я предложила все-таки вскрыть, но моя законопослушная мама отчаянно закачала головой: «Что ты, ни в коем случае!» Ну я и послушалась, о чем очень жалею сейчас – надо было открыть и прочитать. Надо было все знать до конца. Впрочем, о чем я? О правде, которой и не было?

Мы нашли деда и в расстрельных списках Сахаровского центра, и в Книге памяти общества «Мемориал». Съездили в Коммунарку, на его могилу, которой, собственно, нет. Есть только примерное место, где, слава богу, закончились его адские муки.

Не знаю о нем почти ничего – когда-то семья его перебралась из Варшавы в Питер, где он и родился. Семья была большая, с трагической историей – кто-то покончил с собой, кто-то умер в младенчестве, кто-то в юности, а кто-то погиб в гражданскую. Мать его, моя прабабушка, жизнь свою окончила в доме скорби – не выдержала психика «валежной пани» кошмаров соцстроя.

Дед мой воевал в Гражданскую командиром бронепоезда. А позже, в 20-е, занимал важную должность в большом министерстве, быстро шел вверх по служебной лестнице и – обычный итог!

О, сколько их упало в эту бездну…

Упало и – пропало. Навсегда.

Бабушкиного отца, моего прадеда Бориса Метлицкого, тоже взяли в начале 30-х. «Раскулачили». И наплевать, что не был он хозяином мельницы и сам пахал там до третьего пота – эксплуататор!

Не посадили – отправили на строительство Беломорканала. Канал был построен в рекордные сроки – с 31-го по 33-й год. Но какими усилиями и какой ценой! По документам примерно двенадцать с лишним тысяч трупов. Хорошее слово – «примерно»! Но и там дед проявил себя – в смекалке, честности и труде. Начальник заметил его, перевел в бригадиры, очень ценил. Дед выжил и вернулся домой – повезло. В Белоруссию не поехали – там было не прокормиться. Отправились к старшей дочери Анне на юг, на Азовское море.

Мама хорошо помнит своего деда – немногословного, сурового, требовательного и красивого старика. Его я не знала, а вот его Марьяся, Мария Метлицкая, полная моя тезка и моя прабабушка, прожила очень долгую жизнь – умерла она в 76-м, я тогда заканчивала школу. Было ей девяносто два года.

Она еще успела вкусить жизни до революции, до кровавых и страшных времен. Еще поносила бархатные шляпки и брошку-камею. Еще помнила ощущение тонкого кружевного белья. Еще по утрам собирала свои богатые волосы в высокий пучок, подколотый настоящим черепаховым гребнем. Пара капель духов «Коти» на тонком запястье, маленькая ножка в кожаном башмачке с изящной защелкой, сшитом удивительно! Ни разу ногу этот башмачок не натер, ни разу нога не устала. Подметка не отвалилась, не дала течь – даже в эвакуации, когда проваливался, хрустя и ломаясь, словно стекло, тонкий лед на коварных лужах.

И пальтишко свое износила до белизны обшлагов. Английский драп синего цвета, подбитый сереньким кроликом, с бархатной стоечкой у нежной шеи – прожило оно до мирного времени, пока дочери не выкинули «это добро». Только сережек, подарка мужа на рождение сына, прозрачных бриллиантовых капелек редкой грушевидной формы, не осталось – проели в войну.

Развлечений в ее жизни было немного – в город, в Минск, выезжали не часто – раз в месяц: в гости к родне, за важными покупками или же к докторам на прием. Ну и в синематограф, а после в кондитерскую – побаловать себя кофе с

пирожными. А так – обычная женская жизнь: трое детей, кухня, сад-огород. Жизнь трудовая, но не голодная. Спокойная жизнь, дай бог всякому!

Ее обожали все внуки и правнуки – доброты она была невероятной, тихая как мышонок, неприхотливая, совсем некапризная. Очень смешливая. Пела нам песни и рассказывала сказки с таким выражением, по «ролям», что нас разрывало от смеха.

Картинка из детства – бердянский двор в самом центре, улица Красная. Четырехэтажный дом, квартира тетушки, бабушкиной сестры, – три комнаты, маленькая кухня. На балконе, под марлей – от мух, – сушатся знаменитые азовские «бички». Мы, конечно же, потихоньку таскаем их оттуда. Во дворе на скамеечке сидят местные старушки – бабушка Марьяся среди них. Худенькая, как подросток, в легком темном платьице, в платочке на голове, сидит, опираясь на палку.

Она видит нас, правнуков, и машет рукой, смеется:

– Ну, бандиты! Дел понаделали?

Потом, спустя годы, так же сидели моя бабушка и ее сестра.

Потом… потом скамеечка опустела. Ушли старики. И двор опустел. И жизнь опустела без них.

В начале двухтысячных мы с уже взрослым сыном поехали в Литву, навестили моих двоюродных сестер в Минске и решили заехать в Острошицкий городок, на родину бабушки. Это совсем близко от Минска – километров пятнадцать.

Пыльная дорога, заросший пруд. Восстановленная церквушка – во дворе еще стояли строительные леса. Навстречу вышел молодой батюшка, разговорились. Объяснили, что мы москвичи, едем в отпуск и вот решили заехать. Он кивнул и грустно сказал, что от «прежнего» почти ничего не осталось – пруд да дорога. Нет, есть еще старое строение – кажется, бывшая больница, заброшенное, полуразрушенное здание. Да! Еще старое кладбище! Правда, и оно совсем заросшее и заброшенное. Мы пошли туда – бурьян и осока по грудь, огромное

поле. Сын рванул вперед и закричал:

– Мам, я нашел!

Я подошла и увидела несколько полукруглых, замшелых камней с еле заметными буквами. С трудом различили остаток фамилии – точнее всего несколько букв. Гладили эти теплые камни и плакали. Тишина была какой-то нереальной, даже оглушительной. Где-то жужжал шмель, над головой стрекотала пепельная стрекоза. Жарило солнце, чуть колыхалась трава. Вечный покой и вечная природа. Почти вечные камни, но и им, кажется, отпущен свой срок. И все же человеческая жизнь оказалась куда короче, чем все остальное! Но не короче человеческой памяти.

До войны бабушка с мамой, как я уже говорила, жили на Кировской. Служила бабушка делопроизводителем в управлении при Московском отделении жилищного хозяйства, почему-то в секретном отделе. Что они там засекречивали – одному богу известно. Сразу после ареста мужа пришла к своему начальнику и все ему рассказала. Тот выслушал молча, глаз не поднял и, тяжело вздохнув, принял решение – тут же перевел ее в другой отдел – несекретный – и даже повысил зарплату. Словом, он бабушку спас. Имя этого человека, ее начальника, – Давид Львович Бронер. Мама помнит его до сих пор.

В самом начале войны бабушка с сыном и дочкой, моей будущей мамой, эвакуировались в Татарию. До Казани – на поезде, дальше по Волге – на пароходике. Мама помнит, что маленький пароходик почему-то горел.

Всю жизнь бабушка хранила самые теплые воспоминания об этом глухом татарском селе и о его жителях – приняли их там тепло и радушно. Работала она в бухгалтерии при совхозе, носящем гордое имя «Пятнадцатилетия Октября». Старший бабушкин сын, мамин брат, вчерашний московский школьник, работал в поле на тракторе. Семнадцатилетним подростком он ушел на фронт – в последний призыв.

Комнатка, где они жили, была крохотной, шестиметровой. Дети спали у печки, бабушка – у окна. Туда же, в Татарию, приехали и ее родители. Приехали, когда бабушка умирала от воспаления легких – холод в избе был такой, что к подоконнику примерзали, покрываясь инеем, ее прекрасные длинные волосы. Прадед быстро собрался и уехал в Казань, продал там свое наследство, золотые

часы-луковку на цепочке, привез дочке лекарство, которое и спасло ее жизнь. Он, мой запасливый и расчетливый прадед, умудрился раздобыть и пшено, и фасоль – словом, выжили.

В 43-м вернулись в Москву. Комнаты, слава богу, сохранились – бабушка высылала домработнице Дусе деньги за коммуналку. Дуся в войну жила там же, на Кировской. Конечно, сожгла все книги и мебель – обычная история, надо было как-то выживать. Бабушка ее, разумеется, не отругала.

Итак, наступила мирная жизнь. Осталось жилье, вернулся с войны старший сын – инвалидом, с ранением, изуродовавшим его лицо, но живой, что было огромным счастьем. Росла умница дочь. И снова ежедневные подвиги, снова борьба за жизнь. Борьба, а не жизнь: после войны бабушка работала в бухгалтерии домоуправления, зарплата копеечная, карточки. В школу мама пошла в подкрашенных мелом парусиновых тапках на веревках. В дождь мел таял и растекался под ногами белой лужицей. От стыда мама плакала. Единственное ее платье было сшито из отцовской гимнастерки – серой, застиранной, усеянной плотными кубиками штопки.

Были у бабушки подруги – Геня, Галя, Берта. Я прекрасно их помню, этих ангельских старушек – бедных, плохо одетых, одиноких и никогда не унывающих. В театры – раза два в месяц! В музеи и того чаще. Ну и в гости друг к другу! Муж, кстати, имелся только у Гали – остальные вдовели.

Вспоминаю один Новый год. Родители в командировке. Любимая бабушкина подружка Геня живет далеко, возле Измайловского парка. Вечером едем к ней отмечать. Комнатка на первом этаже, очень низком, окном почти в землю. Деревянные крашеные полы, кровать с металлической спинкой. Кипенно-белое покрывало. Старенький телевизор, черно-белый «Темп». Бьющая в глаза бедность и такая же отчаянная чистота. Небольшой круглый стол, парадная, местами подштопанная скатерть. На столе – плошечки с закуской, салатами – оливье, селедка под шубой, тертая морковка, свекла с чесноком. Пирожки. Бутылка сладкого шампанского.

Еле слышно работает телевизор – Брежнев шамкает челюстью и хвалится успехами, что-то там про закрома и пятилетки, которые в срок. Укладывают меня спать поздно, почти в час ночи. Я засыпаю под бабушкин и Генин размеренный,

тихий и убаюкивающий шепот. На столе горит лампа, прикрытая старым платком. Среди ночи просыпаюсь и вижу ту же картину – две пожилые женщины, чья дружба проверена годами и самой жизнью, по-прежнему сидят друг напротив друга. Склоненные седые головы – у обеих старушечьи пучки. И разговор, разговор – без конца. На улице поскрипывает желтый фонарь и слабо пробивается рассвет, а они все сидят. Вспоминают. И не кончается, тихо течет их беседа. Журчит неспешно, как ручеек. Ну а я – я снова засыпаю, как мне и положено.

Подсчитала – это год примерно 69-й. То есть бабушке и ее подруге под шестьдесят. Всего-то! Немногим больше, чем мне сейчас.

А ощущение было, что они древние старушки.

Всю жизнь бабушка служила своей дочери, своим внучкам и, слава богу, застала наших детей – своих правнуков. Водила нас на музыку, фигурное катание, плаванье. Помогала с уроками, обстирывала, обглаживала, подавала, убирала и защищала от строгой мамы.

По вечерам, когда мы все наконец разбредались по своим углам, она садилась читать. Читала всегда и много – книги, газеты («Литературку»), толстые журналы. О себе не думала никогда – главным были семья, дети, дочь.

Мама рассказывала, что ухажеры у бабушки, конечно же, имелись. Она и после войны оставалась красавицей – зеленоглазая, с русой косой по пояс, пышногрудая. Но никогда не была замечена ни во флирте, ни в кокетстве – увы!

В двадцать восемь, в 38-м, перед ней навсегда закрылась дверь в счастье, в устройство женской судьбы. Или – сама виновата, характер? Нежелание размениваться? Устроить свою судьбу? Пусть без любви – но с мужчиной-то легче! Или ничего не осталось в выжженной душе? И не было места чувствам и эмоциям?

Она растила нас с сестрой, везла на себе весь дом, была прекрасной хозяйкой и абсолютно святым человеком – ничего плохого к ней не приставало. Сплетни она ненавидела, а щедрость ее была запредельной, такой же, как скромность.

Характер был у нее сложный, вспыльчивый, неровный. Но ее искренность, чистота, почти святость, все искупали.

Вот задуматься – что хорошего она видела в своей жизни? Раннее бестолковое замужество? Второй брак, окончившийся страшной трагедией? Нищету? Вечную нужду? Женское одиночество? Она никогда не путешествовала, не носила красивой одежды, удобной обуви. Не имела отдельного жилья – так, чтобы уединиться и хоть немного отдохнуть от нас, шумных, непослушных, беспокойных. На море ездила с внуками и там не расслаблялась ни на минуту. Ни разу не была в санатории – чтобы подали, накрыли, убрали. Корячилась под лестницей на чужих дачах в душном угаре керогаза, стирала в тазу.

И переживала, переживала за всех нас, своих любимых и близких.

Она не видела ни Париж, ни даже Ялту, перед ней не открывал дверь услужливый и бородатый швейцар, ей не целовали руки, провожая недвусмысленным, задумчивым взглядом. Она не просыпалась на широкой постели с тонким бельем. Ей ни разу не сварили кофе – в том числе мы, паразиты, обожавшие ее!

Она просто была, и казалось, что так будет всегда! Всегда. Всегда она будет рядом, всегда покритикует нас своим прокуренным голосом, всегда пожалеет, даст умнейший совет. И снова – прикрикнет, снова раскритикует. Не обнимет, нет – никаких сю-сю, это не про нее.

Но мы всегда будем знать, что сердце ее полно любви к нам, жалости и сочувствия, почти слепого обожания и тотальной, неистребимой верности.

Ее нет уже очень давно – больше двадцати лет. Ее нет физически, но она есть – каждый день она с нами.

Приходя на кладбище, я говорю ей: «Привет! Ну как ты там, а? Наблюдаешь за нами? Ты мной довольна, ба? Не ожидала? Не ожидала, что из твоей легкомысленной внучки, любимейшей, избалованной именно тобой, что-то получится? То-то! Гордись!»

А дальше рассказываю ей, что у нас происходит. Хотя я уверена – она и так в курсе всего. Ну как же она может не быть в курсе? Она ведь всегда держала

руку на пульсе. Она все про нас знает, все видит, и нам от этого легче. Она следит – пристально следит, заинтересованно – все ли мы делаем так? Так, как нужно, как она нас учила? И мы чувствуем это.

Мы уже не плачем – давно отплакали. На ее могиле мы шутим и что-то вспоминаем – тоже что-то смешное, семейное.

Что она дала нам? Свое сердце, душу – да всё! Она научила нас быть людьми – а это самое-самое.

Мы, конечно, другие – у нас нет ее бескорыстия, доходящего до глупости, до идиотизма. Мы, наверное, подумаем, отдать ли последнее. Мы вообще сначала подумаем о себе, а уж потом о других. И все же мы не выросли подлецами, лгунами, бездельниками. В ведении дома мы почти приблизились к ее умению и таланту. Мы не рассматривали своих партнеров как средство улучшения качества жизни – может, и зря. Но этому бабушка нас не научила, потому что сама не имела представления об этом. Мы умеем трудиться. У нас есть друзья. И наша, уже не такая большая, семья всегда сплотится, если не дай бог…

Мой сын похож на бабушку внешне – прямой нос, зеленые глаза. И характер! В нем так много от нее, что иногда я просто теряюсь.

Никого не осталось в том городке, что под Минском. Никого и ничего, кроме старого пруда, затянутого ряской, желтых кувшинок, голубоватых стрекоз, кружащихся над мутной водой, старых и крепких дубов на пыльной и узкой центральной улице. И старого кладбища, густо заросшего осокой и бурьяном.

Несколько серых валунов с полустертыми надписями – ничего не поймешь, ничего…

И все же, гладя эти теплые, нагретые солнцем камни и разговаривая с ними, я верила, что меня слышат мои дальние предки.

И бабушке, думаю, это было приятно – при всем ее скепсисе, при отсутствии сентиментальности. Мне кажется – так.

Мы все – до сих пор – под огромным шатром ее безграничной любви и защиты.

И чувствуем это всегда.

Начало, пятидесятые

Моя двадцатидвухлетняя мама отстояла меня не без усилий и жестко – бабушка, потом, кстати, обожавшая меня без всякой меры, настаивала на аборте. Почему? Да все просто – видела зорким оком бесперспективность раннего и не совсем равного брака дочери. В чем, как всегда, оказалась права. Но мамино твердое «нет» решило мою судьбу.

В конце июля, числа, наверное, двадцать пятого, меня привезли в мою первую квартиру – огромную коммуналку на Петровских линиях.

Мало было счастливчиков, не наблюдавших деревянные кружки для унитазов, развешанные в рядок на гвоздях в общем туалете, не помнящих огромное, душное, во влажном пару, пространство коммунальной кухни, больше похожее на преисподнюю, где в ряд на кривоватом полу, выложенном коричневыми квадратиками метлахской плитки, стояли несколько газовых плит и маленькие, кривобокие столики – свой, личный, у каждой семьи. И множество звонков на деревянной панели у входной двери и надписи под ними: Гусевым – два звонка, Фельдманам – три, а Копопленко – уже все четыре.

Еще был общий звонок – так и писалось: «общий». Это для почтальона со срочной телеграммой, участкового врача, милиционера или старьевщика с заплечным мешком. Были в те времена еще и точильщики – мужички, как ни странно, довольно хилого вида, волочившие увесистый точильный станок. Их ждали и им радовались – ножи, ножницы, запчасти от мясорубок – все выносилось на лестничную площадку. Тут же выстраивалась очередь, терпеливая и умиротворенная. Хозяйки, оторвавшись от плит и тазов, с превеликим удовольствием давали себе передышку – шушукались и обменивались новостями – чаще всего, разумеется, квартирными сплетнями. С плохо скрываемой радостью, слегка по-садистски, поносили своих свекровей, мужей и детей.

Я прекрасно помню нашу первую квартиру – доходный дом напротив гостиницы «Будапешт» – второй этаж, окнами на Неглинку, на знаменитый юргенсоновский магазин «Ноты». Наискосок – Сандуновские бани. В квартире проживало тринадцать семей. У всех по комнате, а у счастливчиков и по две. Моя бабушка как раз была среди счастливчиков – путем сложных, многоходовых обменов у нас оказалось две комнаты. Правда, довольно скоро одну комнату бабушка отдала любимому брату, вернувшемуся из долгой командировки в Магадан. Московского жилья у него не было.

Отдала дальнюю комнату, запроходную, с выходом на черную лестницу – страшную, жутковатую, стылую, остро воняющую помойкой. На черной лестнице смело гулял ветер – наверное, из щелястых, никогда не конопаченных рам. Но имелось у комнаты неоспоримое достоинство – свой выход, отдельная дверь на эту самую «кухаркину» лестницу, именуемую в старые добрые времена входом для прислуги. Помню дверь, обитую черным дерматином: пухлую, с серой, грубо и бесстыдно выпирающей ватой – дверь в «отдельную» дядюшкину квартиру.

И вот итог «передела собственности» – точнее, переделывания: бабушкин брат получил отдельную квартирку – свой вход, с личной дверью. В коридорчике, узком, пройти только боком, была установлена электрическая плитка, подвешен рукомойник с ведром и – на тебе! – кухня. Жена его там и готовила, «на проходе», лишая себя «удовольствия» толкаться на общей и коммунальной.

Черной лестницы я побаивалась: темно, холодно, отвратительный запах помоев и табака – это была еще и курилка. Но бегать к тетке любила – та часто пекла пирожки.

Итак – бабушка комнату отдала.

– Это мой брат! – твердо объявила она. – И у него нет жилья.

Вот так просто. И правда, куда уж доходчивее?

Бабуля моя пару раз в жизни имела возможность побыть крезом или султаном Брунея. Но эту плохо знакомую роль исполняла она с большим блеском – превращала в театральное действо.

Сейчас это кажется неправдоподобным – запросто отдать комнату в центре. Ну а тогда подобные подарки были нормой. Как не поделиться с родными? «Да и зачем нам две комнаты?» – искренне удивлялась бабуля. Нам – это ей самой и маме-студентке. Про то, что красавица и умница мама наверняка скоро выскочит замуж (в девках женщины нашей семьи не задерживались, все мы «ранние»), бабушка не задумывалась. Как вообще не думала о материальном – никогда.

Была в бабушкиной жизни еще одна невероятная история: она подарила наследственное колье из бриллиантов. Причем сделала это ни минуты не раздумывая, раз – и готово! Тоже – брату. Этому странному и не вполне логичному поступку было простое и бесхитростное объяснение – Коленька высылает нашей мамочке десять рублей в месяц, а я не могу! Да и вообще – зачем мне бриллианты? Куда их носить?

Совестливая моя бабушка…

Бриллианты достались ее племянницам и золовке. Слава богу, все они были хорошими людьми. А для хорошего человека ведь ничего не жалко. Ну и третья попытка игры в богачку – пятьсот рублей, полученные в наследство от умершей подруги. Тогда еще вполне приличные деньги.

После выхода из сберкассы у бабули моментально изменилась походка и распрямилась спина, горделиво запрокинулась голова. Ну и взгляд стал соответствующим.

– Лови такси! – объявила бабушка, закуривая свою «беломорину». – Едем в Елисеевский!

Надо ли говорить, что у Елисеева мы скупили все, что было возможно? Помню икру по несусветной цене, сыр рокфор с зеленой плесенью, севрюгу и торт.

Гуляла моя бабушка. И откуда такие замашки? А остатки от наследства тут же, по приезде домой, отдала моей маме.

Думаю, если была бы возможность, бабуля моя сорила бы деньгами с удовольствием, не задумываясь. Но только возможностей не было.

Никогда не жалела денег на хороший кофе, шоколад или сыр. А на большее, кстати, все равно не хватало. Широта натуры ведь не всегда зависит от толщины кошелька. Далеко не всегда.

Или – нищим легче делиться? Может быть, так.

Квартира на Петровке была очень дружной, что тоже было не такой уж редкостью по тем временам. Мизантропы еще не расплодились в огромном количестве, все упрямо и с удовольствием верили в светлое будущее. Только пережили войну, помнили голод и холод и были счастливы оттого, что остались живы, вернулись из эвакуации, с фронта – да и просто от хорошего успели отвыкнуть. А до нового «хорошего» было ой как далеко! Кто-то и вовсе его не дождался.

Праздники – ноябрьские, майские, новогодние, дни рождения, свадьбы, поминки – отмечали вместе. Вместе радовались и горевали. Вместе смеялись и плакали. Вместе готовили, накрывали столы, собирали и дружно мыли посуду.

Но были, конечно же, на фоне жизнерадостного, оптимистичного, неизбалованного и очень терпеливого народа и изгои. В любое время процветают человеческие пороки.

Помню отлично семью – муж и жена. Он мужичок противный, склизковатый, похожий на усатую, разъевшуюся, жирную крысу. Но тихонький – скорее всего, просто трус: всегда помалкивал и бочком, бочком к себе в комнатку. «Отрывалась» жена – Антонина, Тонька, как звали ее за глаза. Тонька была старше своего муженька лет на двенадцать. Нервничала, наверное, что уйдет ее крысеныш к бабенке посвежее, вот и пасла его, как козла, – на короткой веревке. Работала она учителем физкультуры. Говорили – стучала. Скандалы обожала – расцветала, как маков цвет, пылала лицом и сверкала глазами. Могла бы легко и просто задавить необъятным бюстом или задницей, а уж если рот откроет – беда, страшное дело. Сплетница, хамка, грязнуля и жадина. Их не любили и к столу не приглашали.

Была еще семья художника, милые люди, но муж – пьяница и бузотер. Скандалил исправно, по расписанию, часто и громко. Как и многие художники, «главарь» семьи ничего не зарабатывал – кормильцем была жена. Их и жалели,

и поносили, и подносили – кто миску с супом, кто пару котлет, кто пирожки. Народ наш всегда жалел нищих и пьяниц.

Помню странную пару – Наталья и Клавдий. Наталья – женщина-гора: высоченная, очень полная, с густыми седыми волосами на подбородке, одышливая, больная, почти неходячая, добрая и плаксивая. И он – крошечного росточка, с малюсенькими ножками в детских ботиночках, со странным, смешным, помятым и улыбчивым личиком. Женским каким-то личиком, что ли?

Наталья из комнаты почти не выходила – в магазин бегал шустрый Клавдий, обед готовил он же, давая полезные советы опытным хозяйкам. Странно, но к его советам прислушивались.

Спустя много лет я узнала историю их семьи и любви – и она меня потрясла. Наталья и Клавдия были подругами. Работали на одном заводе. Клавдия (или Клавдий?) был, к несчастью, гермафродитом. К сорока годам мужская часть его организма одержала победу над женской. И из Клавдии получился Клавдий. Он стал носить мужскую одежду, сделал мужскую стрижку – видимо, ощущал себя полноценным мужчиной. А их дружба с Натальей перешла в иное качество. Что уж там было на самом деле – уже никто не узнает. Может быть, дело в том, что выживать в паре всегда проще. Клавдий был очень заботливым мужем, внимательным, нежным, хорошо понимал нелегкую женскую долю. Наверное, женская генетическая память у него хорошо сохранилась. Жили они мирно и счастливо. Ну или просто мирно.

Помню дробный стук мальчиковых ботиночек на подбитых каблучках «для росту» – Клавдий, с вечной улыбкой на сморщенном старушечьем личике, спешит по коридору, неся любимой Наташеньке кастрюлечку с кашей.

Еще была одна прекрасная старушка – определенно из «бывших». Звали ее Вера Николаевна. Помню синие обои в ее комнате, кобальтовые чашки и разрозненные серебряные ложечки. К чаю подавались варенье в вазочке на тонкой крученой ножке и домашнее печенье с изюмом. На простой табуретке, прикрытой куском вытертого бархата, стоял старый патефон с пластинками – только классическая, оперная музыка. Слушала она ее часами. Слегка потрепанный, с костяными ребрами веер висел на стене – память о первом бале девицы Верочки Смоловой. Низкий абажур нависал над столом, покрытым гобеленовой скатертью с пушистыми кисточками на концах – кисточки эти я заплетала в косички, за что получала от бабушки нагоняй. На стене висела

икона, под ней всегда горела лампадка. Напротив – фотографии статного красавца в военной форме. «Муж», – шепнула мне бабушка. Верочкин муж, белый офицер, погиб в Гражданскую. От голода умер новорожденный сын – сама Вера в то время погибала от сыпняка.

– Зачем я выжила? – до конца жизни удивлялась она. – Для чего? Для чего живу так долго? Чем прогневала Господа нашего?

Жила тихо и тихо умерла, не дождавшись расселения и отдельной квартиры. Помню сережки в ее аккуратных и красивых ушах – маленькие, бирюзовые, яркие, как и ее добрые, вечно слезящиеся глаза. Каждый день она выходила на променад – шляпка из потертого велюра, платочек на шее, перчатки, «помнящие многое», и крохотная кожаная сумочка на звонкой защелке, в которую она стыдливо прятала пролетарскую авоську – а вдруг что-то удастся достать?

Московские старушки, «арбатские» – так почему-то их назвали.

Их больше нет… нет даже похожих.

Была и еще одна замечательная пара, семья, польские аристократы – Ольга Алексеевна и Алексей Фелицианович. Происхождение свое, конечно, скрывали – чем хвастаться-то? Воспитанием или образованием? Хорошими манерами – да о чем вы? Все это было уже не в чести. Алексею Фелициановичу удалось уберечься – анкеты были исправлены, и бывший военный инженер служил на заводе простым работягой. В начале 30-х забрали их единственного сына. Сидел он в Ухтпечлаге, потом, видимо, оказался в ссылке и дальше – пропал. Никаких вестей от него больше не было.

Ольга Алексеевна была истинной аристократкой духа – ее уважали, с ней считались. Была она и замечательной хозяйкой – бабушка моя многому у нее научилась. Считалась она негласной «хозяйкой» квартиры – ложилась позже всех, проверяя перед сном запоры на входной двери и газовые конфорки. Составляла список квартирных дежурств. Не выходила на кухню без прически, не подкрасив губы. Никогда не носила халаты. Революцию называла «разволюцией». Так и говорила: «Это было до разволюции».

На стене в ее комнате висели старые фотографии – Олечка в широкополых, полупрозрачных летних шляпах, Олечка в маленьких шляпках с вуалью, в

бархатном рединготе, в кружевной тальме.

В середине 50-х раздался звонок в дверь. На пороге стояла немолодая женщина с очень усталым лицом и потухшим взглядом. За руку она держала худенького белобрысого мальчика.

Оказалось, что женщина эта в ссылке сошлась с их сыном, родила ребенка, назвали Валерой. Ее муж, сын стариков, умер, а она с сыном выжила и вернулась в Москву. Конечно же, Ольга и Алексей мальчика признали и приняли. Женщина эта отдала им сына, почему – я, конечно, не знаю. Валерик рос у деда с бабушкой, которые его обожали. Мать приходила его навещать.

Алексей Фелицианович умер, Валерик вырос, женился и забрал старенькую бабушку к себе.

Были еще циркачи – дрессировщики пуделей. Они разъезжали по гастролям, а приехав домой, начинали отчаянно спекулировать – из Ташкента везли дыни и груши, из Молдавии персики и виноград, с Украины посуду – кастрюли, утятницы, из Белоруссии шерстяные носки, варежки, свитера и сухие грибы. Из Норильска копченую рыбу.

Открывал торговлю муж дрессировщицы – крошечный, пузатый и лысый хитрован. Торговался нещадно и цены не сбрасывал – плакался, что не на что кормить подопечных – от государства собачки получали сущие копейки. Народу становилось стыдно, и все утихали. Иногда, правда, приторговывал и костлявым мясцом – видимо, подопечные все же «делились».

Жена его носила странное имя Фиалка. Была она женщиной редкой, почти уникальной красоты и очень высокого роста (муж еле-еле доставал ей до плеча). На кухню Фиалка не выходила. Муженек варил ей кофе, покупал пирожные в Столешниках и относил все это на красивом старинном подносе в комнату. Обожал и прислуживал, очень старался. Наверное, всю жизнь боялся, что Фиалка уйдет.

Помню ее мельком – прошла, обдав запахом духов и цветочного крема. Пролетела, прошелестела шелковым пеньюаром, процокала домашними туфельками на каблучках. Нездешняя фея, нездешняя красота. Не ко времени

пришлась бедная женщина, жалко…

Их, конечно же, тоже не любили и осуждали. Но ненависти к ним не было – все видели, как тяжело они пахали – неотапливаемые провинциальные гостинички и клубы, поезда, автобусы, переезды, перелеты на кукурузниках, заштатные шапито.

Еще была несчастная и тихая женщина Рита, никогда не поднимающая печальных глаз. Воспитывала она недвижимого сына – наверное, это был тяжелый ДЦП. Муж ее после рождения больного ребенка тут же, конечно же, исчез. Мальчик не сидел, не говорил – только открывал рот, когда мать подносила ложку с супом или кашей. В интернат она его не отдавала – говорила: «Ни за что и никогда». Покормив и умыв сына, Рита тут же бежала на работу – куда-то совсем недалеко, по-моему в ЖЭК. Прибегала днем – снова покормить и переодеть. Родных у нее не было. Отдельную квартиру они получили одни из первых.

Еще в квартире жила маленькая старушка, одетая во все черное. Ходила она только в церковь на службы и в булочную. На кухне никогда не топталась, в разговоры ни с кем не вступала, что-то бормотала себе под нос и постоянно крестилась. Никто про нее ничего не знал. Поговаривали, что в прежней жизни она была матушкой, женой расстрелянного попа.

Врач Сусанна, абхазка, слыла мастерицей-кулинаркой. Когда она колдовала на кухне, все стекались на запахи – свежая зелень, грецкие орехи, фасоль. Так тогда в Москве не готовили. Из Сочи часто приезжала ее родня – для них она и старалась. Ну и, конечно, лечила соседей – в любое время дня и ночи никому не отказывала – сделать уколы, примочки, померить давление.

Квартира часто ходила в Сандуны на «помыв» – всем составом. После бани на кухне накрывался стол.

В кинотеатр «Мир», что на Цветном, – тоже ходили вместе. Мама рассказывала, как всем скопом пошли на «Ночи Кабирии». Сеанс был вечерний, поздний. Впереди – молодежь, сзади гуськом семенили старушки.

В детстве наша комната мне казалась огромной. Разумеется, такой она не была – объем и кубатура увеличивались визуально благодаря высоченным потолкам – метров пять или около того – и огромным окнам.

Высоченные окна бабушка мыла и проклинала архитектора. Чтобы открыть верхние створки, приходилось ставить большую стремянку. И еще был подоконник. Скорее всего, гранитный, возможно мраморный, шириной не меньше метра. На нем меня «выгуливали» под открытым окном месяцев, наверное, до пяти.

Когда подросла, со мной ходили гулять в тогда еще очень пышный и зеленый сквер у Большого театра. Помню, как мы, дети, собирали там райские яблочки – ярко-красные, с черными пушистыми «хвостиками» и золотистым черенком. Хотелось их надкусить, но бабушка следила зорко. Но я все же ухитрилась однажды заныкать было яблочко в карман и тайно, исподтишка надкусить. Разочарование оказалось огромным – первое несовпадение внешнего вида и внутреннего содержания. Впрочем, варенье из райских яблочек было отменным.

Гуляли со мной еще на Горького, у памятника Долгорукому. На площади было голубиное царство – огромное море курлыкающих и клехтущих голубей. Людей голуби не боялись и настойчиво клянчили хлеб.

Возле дома на Петровке была сказочная булочная – в ней продавались калачи, с которых осыпалась мучная пыль. Конечно же, ели и «ручку», за которую держали калач в царские времена. Отсюда и пошло «дойти до ручки», то есть до крайней степени бедности. А советский народ ел – неужто выбрасывать такую вкуснотищу! В Филипповскую ходили за сайками, бубликами, рижским и заварным, пирожными и сдобными булочками. Московский хлеб был в то время прекрасен – впрочем, как и мороженое. Мы уже жили на Соколе, но все равно ездили в Филипповскую за любимыми калачами и бубликами.

Калачи, кстати, довольно скоро пропали. И кому они, интересно, мешали?

А бублики где?

Москвичи, конечно же, помнят прозрачные тележки с пломбиром в ГУМе, Пассаже и ЦУМе – тончайший вафельный стаканчик, а наверху шапочка шоколадного или ванильного мороженого с изюмом. Расхватывалось оно моментально – тележка пустела, и мороженщица резво ее увозила. Народ терпеливо ждал следующую. Работало это бесперебойно.

Мороженое московское тоже кануло в Лету. А про нынешний московский хлеб говорить просто больно.

За сыром и колбасой – конечно же, ходили к Елисееву или на Горького в «Диету». Что-то достать там можно было всегда, даже в самые скудные годы, естественно, отстояв огромную очередь. Был еще магазин «Сыр» – там же, на Горького. Но очередь меня не пугала – я обожала сказочный, похожий на королевский дворец, Елисеевский магазин. Бабушку не дергала – закинув голову, рассматривала разукрашенные потолки, бронзовые люстры, расписанные стены и портреты в золоченых рамах.

Помню еще крошечную пончиковую, смешной павильончик в Столешниках, напротив – почти напротив – храма Космы и Дамиана. Домик в два окошка, а в окне инсталляция – столик, два кресла и куклы, тряпичные бабы, вроде тех, что сажали на чайник. Куклы пили чай – настоящий самовар, настоящая посуда и пончики из папье-маше. Внутри само производство, фритюрница, лента, по которой медленно ползли уже готовые пончики, а пышная, совсем как в окошке, тетушка быстро и ловко нанизывала их на круглую деревянную палку, вроде той, которой помешивают в баке белье на плите. В титане какао, два столика на высокой ноге – их называли «стоячки». Можно было купить и навынос. Тетка ловко кидала пончики в бумажный пакет, щедро сыпала сахарную пудру и – пожалуйста, приятного аппетита! Дух от жареных пончиков витал над Столешниками.

Жить не в центре считалось… не очень приличным, что ли. Кто жил на окраинах? Те, кто имел частные дома – на Преображенке, в Сокольниках, Гольяново – практически дачи. Ну и бараки – заводские, перенасыщенные народом – не всегда, кстати, трезвым и мирным. В частных домах удобств не было, а бабушка всегда гордилась удобствами. И смех и грех. Ржавая ванна с несмываемыми подтеками и обвалившейся плиткой. Про туалет уже было сказано. Но «до ветру» не бегали, это да.

Муж мой, к слову, родился на Плющихе, в старом двухэтажном доме. Так вот, там ни воды, ни газа, ни туалета действительно не было. Воду свекор – здоровый и крепкий мужик, профессиональный пловец, прошедший войну, – носил из колонки. Готовили на примусе и керогазе, и туалет – деревянная будка – стоял во дворе. Конечно, народ ходил в бани.

Мама училась в Армянском переулке, в 644-й школе, тогда еще женской. На первом этаже их дома была кулинария. Дальше по улице – рыбный магазин, а на левой стороне – китайская пагода чайуправления, из которой разносился запах только что смолотых кофейных зерен. Правда, не во все времена. Заходить туда было чертовски интересно – там тоже все было как в сказке.

В детский сад я ходила на Кировскую. Главная мука тех лет – лифчик для чулок. Застегивать его никак не получалось – мучились и девочки, и мальчики. Браво колготкам и тому, кто их изобрел.

Спустя целую кучу лет меня снова занесет на Кировскую – там, в доме Страхового общества «Россия», будет находиться скульптурная мастерская моего первого мужа. Мама в то время будет работать в ЦСУ, в статуправлении, в знаменитом доме гениального Ле Корбюзье – тоже на Кировской. По Кировской, на Чистых прудах, я буду «выгуливать» свою непростую беременность.

Маму я часто встречала после работы – пошли, пошатаемся? Ну и шли гулять – от мрачноватого, коричневого здания ЦСУ в чайуправление, кулинарию, магазин «Свет», рыбный – что на углу. Магазин «Пуговицы», угловой гастроном и так до Дома фарфора. В нем всегда были огромные очереди. Помню, «напали» на кофейные чашки из костяного фарфора. Сейчас уже ни одной не осталось. Впрочем, что чашки…

А сейчас там пустота, ни одного человека, хотя товар восхитительный! Но в зале одни продавцы.

Вернемся в коммуналку на Петровке. Летом меня отправляли в выездной детский сад – тоже от ЦСУ, маминой службы, – в Пестово, Рузу. Хорошо помню

деревянные бараки, раскладушки, эмалированные зеленые ночные горшки, остывшую манную кашу, ненавистный компот, в котором барахтались противные осы. Мы вылавливали их столовыми, жирными от супа ложками и пили, потому что нас заставляли.

От бесконечных дождей было холодно и сыро. Тоска. Помню, как сейчас: я стою у окна и жду маму. Воспитатели гонят меня, но я упрямо стою. Смотрю на раскисшую от непогоды дорогу. Реву. Мама приезжала каждые выходные – на попутных грузовиках. Привозила сладости, фрукты. Ночевала в каморке у дворника. Мы шли с ней в лес, и она меня кормила. Ревели при этом обе. И снова запах хлорки, сырое белье, ледяная вода в рукомойнике, ночные горшки, на которые нас высаживали в ряд: хочешь не хочешь, а сиди, так положено.

Летнюю садовскую дачу я, ребенок вполне общественный, ненавидела люто. По счастью, скоро родилась сестра, и мы начали ездить на съемные дачи.

Шестидесятые, Сокол

В шестьдесят пятом наша жизнь круто изменилась. Родители нашли удачный обмен. «С Петровки на Сокол, в квартире всего одни соседи, разве не рай?» – приводила разумные доводы мама. А бабушка отчаянно протестовала: «Ехать в такую даль? С самих Петровских линий? Пять минут от Большого театра и десять от Красной площади?» Но – уехали. Казалось, что преимущества неоспоримы. Рядом – Поселок художников, тихий и зеленый рай в огромном городе. Да и две комнаты – родителям и нам с бабушкой. И всего одна семья за стеной. Здорово, да? Оказалось – не очень. Соседи попались злобные и нечистые на руку – однажды я видела, как бабка Прасковья лезет руками в нашу кастрюлю с борщом – тянет оттуда кусок говядины. С тех пор без надзора на плите ничего не оставалось. С бабкой Прасковьей жила дочь Лизавета, старая дева, с лицом желчным, темно-желтым. От злости? Или болела? Всех эта Лизавета ненавидела, а меня, маленькую девочку, почему-то больше всех. Никогда не здоровалась – только цыкала вслед. Тихим и добродушным был только дед, муж бабки Прасковьи, но он рано погиб – выпил лишку, попал под электричку. Помню, как в коридоре стояла крышка гроба, обитая красным и черным сатином. Испугалась тогда я здорово – из комнаты долго не выходила.

Кухня была крошечной – метра четыре. Два стола, плита и раковина. Ели мы в комнате, за большим круглым столом. Большая комната была замечательной – светлой, квадратной, метров восемнадцать, с окном-фонарем во всю стену.

Бабушка долго не могла привыкнуть к новому месту. Ей казалось, что это почти деревня, загород, выселки – так далеко. А до центра, между прочим, было всего двадцать минут на метро. За продуктами она по привычке ездила «в город». Городом она называла, естественно, улицу Горького. Отстояв полдня в очередях, усталая, но довольная, разбирала свои авоськи – докторская колбаса, пошехонский сыр, вологодское сливочное масло и шоколадные конфеты – конечно же, от «Красного Октября».

Коммунальный быт был ужасен – кто спорит: общая кухня, ванная, туалет. Жизнь на виду – вот что самое страшное. Никаких тайн от соседей, ни грамма приватности. Сейчас и представить себе невозможно, как это так – очередь в туалет? Или – в ванную?

Конечно же, все мечтали об отдельной квартире. Но… Жили же как-то… Может быть, от кошмаров коммунального быта спасали светлые мечты – что когда-нибудь будет отдельная?

Счастливая мама тут же купила мебель – темно-красного, почти гранатового цвета, изящную и необычную – горка для посуды, длинный комод, стол и стулья. В эпоху «стенок» эта чудесная мебель была продана за копейки, о чем еще много раз пришлось пожалеть – сносу ей не было, настоящее дерево, а вид и по сей день был бы прекрасен и благороден. При этом по ходу пьесы она оттащила на помойку старинную бронзовую люстру, заменив ее польской с пластмассовыми разноцветными колпачками. Много лет спустя призналась, что вместе с люстрой на помойку было снесено ну очень старое зеркало в той же бронзе, поломанные настенные часы в футляре из сандалового дерева и ветхий (по словам мамы) ковер. Подозреваю, персидский или турецкий «пенсионер» с немаленьким стажем и богатой родословной.

Наша с бабушкой комната была совсем крохотной, семиметровой, но с балконом и кладовой. Кладовка стала моей личной территорией, там лежали игрушки, стоял кукольный домик.

На балконе бабушка выращивала цветы – желтые, красные и оранжевые настурции. Осенью собирала в баночку зеленые, очень пахучие шарики – семена – для последующей высадки.

В теплое время я обожала торчать на балконе – переговариваться с еще гуляющими подружками. Весь двор был как на ладони.

Да, это был настоящий московский двор – уютный, зеленый, закрытый, с палисадником, лавочками, качелями, крытыми верандами – на случай дождя. И с катком, который обязательно заливал при первом морозе вечно пьяненький и добрый дворник дядя Ваня. Зимними вечерами, еле дождавшись маму с работы, я брала коньки, и мы шли на каток.

Летом на лавочках сидели старушки, по двору прогуливались молодые мамочки с колясками. В палисаднике росли розовые и белые флоксы, и никто и не думал их обрывать.

Во дворе мы устраивали тайники и делали «секретики» – неглубоко, в маленькой ямке, укладывался фантик от конфеты, кусочек фольги, лучше цветной, листик или цветок, и все это «сказочное богатство» придавливалось цветным же стеклом. Красота была неописуемая. Трупики погибших птиц собирали на заднем дворе и устраивали пышные похороны. Укладывали их в коробки, сооружали могилы, украшали их цветами и ветками. Это увлечение, к счастью, скоро прошло.

Играли в классики, в штандер, в города, в прятки и в казаки-разбойники. Во дворе мы болтались целыми днями – это была особая жизнь, сейчас такой нет. Именно во дворах мы проходили боевое крещение – на верность, на честность, на дружбу. Там, во дворах, очень скоро всем становилось понятно и ясно: этот – трус, та – врушка, а тот – предатель! Ну а это – друзья. Дворовый кодекс чести был очень в чести – простите за каламбур. Двор был маленькой, крошечной моделью общества, мира, если хотите. Там и закладывались, закалялись характеры. Формировались личности.

В Поселке художников, на задворках, работала зеркальная фабрика. Возле нее ежедневно вырастала помойка с отходами – осколками зеркал и длинными дырчатыми лентами разноцветной фольги – малиновой, синей, зеленой. Из нее делали то, что сейчас называют пайетками. А раньше это называлось просто –

«блестки». Это было большое богатство – длинные перфорированные ленты фольги и осколки зеркал. Что мы делали со всем этим добром – убейте, не помню! Осталось только в памяти, как, найдя, мы были счастливы безмерно.

Часто бегали к метро «Сокол» – за мороженым. Очень ценилось цитрусовое, желтенькое, по девять копеек – кисло и вкусно, а главное – дешево. Могло хватить денег и на два. У метро толстая тетка, замотанная зимой в кучу платков, притоптывая огромными валенками, орала на всю улицу: «Пирожки га-аа-рячие! С мясом, повидлом и рисом!» С мясом стоили десять копеек, с повидлом и рисом – по пять. Чаще всего хватало на рис и повидло. С мясом есть боялись – бабушка говорила, что мясо там «от не пойми кого» – может, кошачье, а может – собачье.

Шумные пестрые цыганки там же, у метро, торговали леденцовыми петушками на палочке – прозрачными, ярко-красными, очень соблазнительными. На петушки тоже было наложено вето – никогда и ни при каких условиях! Попробовать хотелось, но остерегались. В том числе и шумливых цыган. Утащат – и никто не найдет! Заберут «на мыло» – так нас пугали.

В нашем доме была прекрасно развита инфраструктура – на первом этаже располагались сберкасса, парикмахерская, ЖЭК, ремонт обуви и булочная. Туда мы бегали за «калорийками» по десять копеек – «загорелыми» плюшками, утыканными орешками, с изюмом внутри. За домом стояли автоматы красного цвета с газировкой. С сиропом – три копейки, без – одна. К автомату полагались граненые стаканы. Но частенько их не было – говорили, что воруют их алкаши. Потом мы сообразили бегать туда со своими кружками – брали одну на всех и не мучились.

Любимое развлечение – толкаться в огромном детском магазине «Смена». Пропадали в отделе игрушек, одежды и обуви. Помню, завезли туда роскошные кофты – желтые, розовые, голубые, производства Японии – такое вот чудо. Кофты были украшены вывязанными цветами. Не кофта – мечта! Канючила долго. Наконец мама, вздохнув, согласилась. Стоила эта красота безумно дорого – двадцать рублей, четверть зарплаты. И вот день счастья – встречаю маму после работы, под самое закрытие магазина. В магазине почти пусто – время к девяти, все уже дома. Замерла у прилавка – какого цвета выбрать? Мучилась страшно. Победил, конечно, салатовый. До сих пор, наряду с зеленым, мой любимый цвет.

Мама уже пошла к кассе, и вдруг – дикий крик! Деньги украли! Когда? Как? В почти пустом магазине! Плакала мама, рыдала я. Мы ушли домой, и всю ночь я не спала – страдала. Очень страдала – пропала мечта.

На следующий день после работы мама принесла салатовую мечту – деньги взяла в кассе взаимопомощи, в долг. Вот и было мне счастье!

Помню и первое сентября. В первый класс я пошла там же, на Соколе. Старая школа красного кирпича, за школой – густой яблоневый сад. (Сейчас в моей любимой 149-й расположился журнал «Коммерсант».)

В мой первый школьный день моросил мелкий дождик, было довольно прохладно. Но явственно помню праздник! Точнее – его ощущение: острое, незабываемое. В руках фиолетовые астры, чувствую запах горчинки. Белый фартук, новые туфельки, белые гольфы с помпончиками. Тревожно от неизвестности, страшновато, но – интересно. Все-таки новая жизнь! Спину оттягивал малиновый ранец с тетрадками, деревянным пеналом с ручкой и карандашами. У двери я оглянулась на маму – мама плакала и махала рукой – в добрый путь! Я очень боялась разреветься – уже скучала по маме и бабушке. Но через минут десять о них забыла – в классе было оживленно и весело, мы знакомились друг с другом, ерзали на деревянных прохладных скамейках, хлопали тяжелыми зелеными крышками парт. Осваивались.

Мне повезло с первой учительницей – она была именно такой, о которой можно только мечтать. Немолодая и синеглазая Ида Давыдовна учила нас не только правописанию и арифметике – она учила нас доброте и милосердию. Да и все учителя – ну, или почти все – в нашей школе были прекрасными. Например, литературу и русский нам преподавала Раиса Матвеевна Уткина, очень полная, рыжеволосая, густо конопатая. Говорили, что она – сестра поэта-фронтовика Иосифа Уткина. Наверное, именно она научила меня любить поэзию.

Математичка (имени не помню) – строгая, но не вредная. Билась со мной, но безуспешно. С натягом ставила четверки – авансом. Аванс я так и не отработала и надежд ее вялых не оправдала.

Учитель по военному делу – фамилию, увы, не помню – фронтовик, с протезом вместо правой руки, с изуродованной половиной лица – осколочное ранение.

Рассказывал про войну, просто про жизнь – да так, что мы, шумные и бестолковые, на сорок пять минут немели и застывали. Спустя много лет узнала, что он еще был и писатель. Писал о предвоенном времени, о своем поколении, об одноклассниках – из целого класса, ушедшего на фронт, уцелел только он.

Директор школы, Лидия Ивановна Воронина, статная белокурая красавица, строгая и справедливая, вела географию. На ее уроках было так интересно, что, услышав звонок, мы оставались на местах и просили «еще».

Англичанка Маргарита Николаевна – маленькая, кругленькая, очень смешливая. На ее уроках было весело – говорили только на языке, даже рассказывали анекдоты.

Моя первая школа была прекрасна – нам стремились дать знания, поделиться с нами жизненным опытом. Там не работали бездушные и косные учителя – каждый был личностью, индивидуальностью. Жаль, что в шестом классе я оттуда ушла.

С Сокола навеки остались подружки. Обе – Ларисы, Лорки. Все было вместе и всё на троих. Детская дружба, наверное, самая крепкая, самая верная и самая бескорыстная. Общаемся до сей поры, правда, нечасто: одна ныне во Франкфурте, другая – в Тель-Авиве. Но главное, что друг друга не потеряли.

В семь лет меня отвели к учительнице музыки – на прослушивание. Жила она в отдельной трехкомнатной квартире на Беговой, напротив Боткинской больницы. Квартира была роскошной – муж моей «музыкалки» служил скрипачом в большом театре. Сама учительница была немолода, пахла нездешними духами и шелестела необыкновенным шелковым халатом, расшитым райскими птицами. Звали ее Муза Николаевна. Ногтем с безупречным маникюром темно-бордового цвета она отбивала такты на крышке рояля и просила меня повторить. Не помню, было ли это успешно, но слуха тогда у меня не было точно. Она вздохнула и сказала бабушке, что пианистки из меня не получится, а вот слух мне она разовьет. Это у нее получилось – слух у меня теперь есть, далекий, правда, от абсолютного. Петь мне когда-то очень нравилось. Могу и сейчас, но без особого энтузиазма.

Занятия музыкой я не любила, но ездила туда с интересом – в пузатой стеклянной горке рядом с роялем было много чудес – фарфоровые фигурки дам и кавалеров, мальчики со свирельками, девочки с котятами, кареты и зонтики. Сказка. Было очень любопытно рассматривать Музины кольца и браслеты – они звенели, переливались и в солнечный день брызгали разноцветными слепящими искрами.

Естественно, родители купили пианино – в кредит. В большую комнату втиснули сверкающую черным лаком бандуру под названием «Заря». Возле него примостился черный крутящийся круглый стульчик – все было серьезно, по-взрослому. Ну и мучилась дальше – деваться-то было некуда. Осточертевшая музыкальная зубрежка как-то навела меня на мысль о членовредительстве, и верная Лорка притащила из дома бинт и замотала мне кисть. А потом муки продолжились еще на семь лет. После красавицы Музы была еще музыкальная школа у планетария, а потом я пианино закрыла. Точнее – захлопнула крышку со стуком. Раз и – навсегда. Эстафету передала младшей сестре.

В секцию фигурного катания меня отвели в общество «Динамо» – совсем рядом, под арку – тогда это было модно, как бы сказали сейчас – в тренде. В теплое время лед заменяли залом ритмики – все как в балетной школе: трико, забранные под ленту волосы, станок и зеркала вдоль стены.

Каток я любила больше, чем зал, наверное, потому, что всегда обожала морозец и снег, хорошую зиму. И уж точно заниматься фигурным катанием было куда веселее, чем долбить этюды Черни и Гедике.

Мои школьные подружки, близнецы Лорка и Инка, жили в отдельной квартире. А под их окнами, почти около подъезда, находилось кладбище. Вернее – его остатки. Чтобы быстрее добраться от метро, нужно было пройти сквозь него. А вскоре кладбище решили перенести. Обнесли его высоким забором, согнали солдатиков. Мы, освободившись после уроков, мчались туда, чтобы повиснуть на шатком заборе. Было страшновато, но интересно. Солдатики вынимали остатки гробов и останки людей – остовы скелетов, разваливающиеся части черепов, а мы, дураки, вглядывались, пытаясь разглядеть что-то интересное. Что, господи?

На месте этого кладбища соорудили, представьте, парк. Но популярностью он не пользовался – только если у местных алкашей и маргинальных парочек, ищущих

уединения. Гиблое место.

Были, конечно, мечты. Я, например, мечтала о чешских белых ботинках для фигурного катания. Но стоили они ужасно дорого – рублей двадцать пять. И однажды моя мечта сбылась – приехал какой-то незнакомый дяденька, по версии мамы, наш дальний родственник. Родственник почему-то пошел со мной и беременной мамой на каток в «генеральский» двор, внимательно наблюдал за моими экзерсисами, а потом и вовсе расщедрился – купил мне в «Смене» эти самые белые чешские коньки за двадцать пять рублей. Я удивилась такой щедрости и вниманию, вопросительно посмотрела на маму, а она беспечно махнула рукой: купил – и радуйся! Родственник все-таки. Родственник этот оказался моим отцом, но это поняла я чуть позже, сопоставив некоторые факты своей биографии и семейной истории.

Конечно, мы тайно влюблялись. Например, в старшеклассников и в хулиганов. Критерии были такие – или красавец, или отпетый двоечник. Иногда совпадало. В меня был влюблен главный хулиган района – Димка Турчинин. Уже в те годы у него не хватало зубов – видимо, были утеряны в драках. Он мне не нравился, но было приятно находиться под его защитой.

Там, на Соколе, в Поселке художников, в старом роддоме номер шестнадцать, у меня родилась младшая сестра. Помню, как бегала туда после школы – весна, тепло, и мама в окне – мы машем друг другу. Помню и свою страшную гордость – младшая сестра была только у меня, и ни у кого больше. Коляску с младенцем покатать доводилось не всякому – проходили строжайший отбор и фейс-контроль. Не шутки же, право слово, – любимый младенец.

На лето снималась дача – непременно. Наплевать на кредит за инструмент, наплевать на мамин декрет. Дача должна быть – и точка! Как девочки будут проводить лето в пыльном и душном городе? Невозможно. В основном жили в комнатушках на втором этаже – первый был значительно дороже. Валентиновка, Зеленоградская, Ильинка. Шаткая лестница, две комнатки под покатой крышей – в одной мы с сестрой и бабушка, а в другой – родители. Под лестницей, на табуретке, двухконфорочная плитка, подключенная к газовому баллону, –

отдельной кухни, конечно, не было. Баллоны на газовых пунктах меняли родители. И там, на этом квадратном полуметре, бабушка моя, вечная труженица, варила борщи, жарила котлеты и даже пекла пирожки. И, конечно, варила варенье.

Воду приходилось таскать из колодца. Родители приезжали на выходные, в пятницу. Сначала на электричке, потом на машине. Мы с сестрой ходили на «большак» их встречать. Скучали по ним очень. Да и к тому же – подарки и вкусности были гарантированы. Правда, с бабушкой вольницы было побольше.

Обязательно имелось озеро или пруд – тогда в подмосковных водоемах купаться было не страшно. В Зеленоградской озеро было глубокое, с очень холодной водой, и мальчишки переплывали его на спор, выпендриваясь перед нами, девчонками. А еще помню бесконечное гороховое поле, темный и влажный грибной лес, сухие, залитые солнцем земляничные поляны.

По выходным обязательно приезжали гости, родительские друзья. И начинались шашлыки, анекдоты и песни под гитару. Мы, дети, жадно ловили взрослые разговоры. Особенно я прислушивалась к разговорам «за политику». Понимали, что родители чем-то не очень довольны, громко и обреченно вздыхают, что-то критикуют и над чем-то грустно посмеиваются.

Помню, что испытывала большое удивление – я искренне и довольно долго считала, что мне несказанно повезло – родиться в самой свободной и самой прекрасной стране на свете. Ведь там, в далеких Америках, живут бедные и несчастные люди! Голодают безработные, дети-бродяжки рыщут в помойках в поисках еды. А мы, мы же счастливцы! Нам выпало родиться именно здесь, в Советском Союзе!

Для счастливого детства не важен политический строй. Для счастливого детства важны семья и любовь. А обо всем остальном мы стали задумываться куда позднее. Нам, детям, душно не было – душно, наверное, было нашим родителям. Ну, а мы до поры пребывали в неведении. Нам было счастливо и хорошо.

Жизнь и вправду была прекрасна – счастливое детство! Двор, любимая школа, подруги. Мороженое и пирожки, каток, на каникулы абонемент в кинотеатр «Ленинград», где очень рано – в восемь утра – шли прекрасные сказки Роу. Вставать не хотелось – на улице холодно и совсем темно, но вставали и бежали.

Это был праздник. А еще дача и море на каникулах. Мама, папа, сестра и любимейшая бабушка. Кукла Зоя – не немецкая резиновая с открывающимися глазами и блестящими, «настоящими» волосами, нет. Пластмассовая, лупастая, «нашенская» Зоя с негнущимися ногами и приличной плешью на голове. Похожая, как две капли, на свою тезку – продавщицу из овощного. С таким же стервозным и глупым лицом. Но – любимая, наверное, из жалости.

В августе уезжали в Бердянск, на Азовское море – к бабушкиной сестре. Трехкомнатная квартира в самом центре непонятным образом вмещала немыслимое количество народу – кроме нас с сестрой и бабушки, туда съезжались внуки бабушкиной сестры из Мурманска, Минска и Ленинграда. Все дети спали в одной комнате – на кровати, диване, раскладушках.

В шесть утра наши бабушки, родные сестры, тогда еще – статные, полные сил и бодрости духа красавицы, отправлялись на базар. И после семи заступали на вахту. Борщи в огромных кастрюлях, смахивающих на баки для кипячения белья, компоты, тазы котлет и жареных бычков – «бичков», если по-местному, чебуреки, пирожки, пончики. Бадейки с кукурузой – пшенкой, как ее здесь называли.

Из крана лилась соленая вода, готовить на ней было невозможно. Питьевую воду привозили во дворы на машинах, и выстраивались очереди с бидонами, ведрами и баками. В местной воде только стирали.

По вечерам в выходные во двор привозили кино. Мы рассаживались на шаткие скамейки и ждали, пока механик повесит на ржавую опору тряпичный экран. Аппарат скрипел, кряхтел, визжал и ломался. Пленка рвалась. Фильмы были старыми, даже древними. Новые – за деньги в кинотеатрах, пожалуйста! А тут – халява, тут даром.

И все равно была радость.

Рядом, под окнами, раскинулся «централ-парк» – парк имени Отто Юльевича Шмидта. Цветущие и душистые розы, сладкая газировка в стеклянных конусах, мороженое. Иногда по выходным в парке играл духовой оркестрик. Некоторые пары отваживались танцевать. По вечерам под нашими окнами гудела центральная танцплощадка. Спать не давала, но мы не расстраивались. Завидовали тем, кто там «зажигал», нас не пускали – соплячки.

Городок этот мы обожали. В свободе нас не ограничивали и перемещения наши не отслеживали. К чему? Было тихо, и никогда ничего не случалось. Минуты две от дома – центр, с базаром, бульваром, набережной и прочими радостями в виде кафешек, молочных коктейлей, соков и булочек. Кинотеатры – на каждом шагу. Фильмы – индийские, мексиканские, аргентинские – идут без перерывов, билет стоит десять копеек. Деревянные лавки, хруст семечек, переговоры и обсуждения – в голос. В кино мы бегали раза два на дню. А то и по три.

Почему-то было много кафетериев – кофе, конечно же, из титана – и торты! Об этих красавцах стоит рассказать отдельно. Торт на витрине, как правило, был мощным, огромным – на три или пять килограммов. А украшен – нет слов! Таких украшений, такого обилия крема, таких пышных роз, пионов, георгинов, сирени на московских тортах я не помню. А буйство красок: огненно-красные, ярко-желтые розы, оранжевые, фиолетовые гиацинты, бордовые георгины, белые и красные пионы. Фантазия безумного кондитера, поклонника импрессионизма, не сумевшего осуществить мечту стать художником?

Торт нарезался в продажу кусками. Есть его было страшновато, честно, главное, не думать об этом как о съедобном – так, инсталляция.

На пляж собирались бесконечно шумно и долго – такая орава! Долго и тщательно складывали сумки с фруктами – виноградом, персиками и грушами. Как же заморенным детям без витаминов, о чем вы? По дороге на пляж местные старушки торговали семечками и кукурузой, и мы начинали клянчить у бабушек. Нас не останавливало то, что дома уже сварена целая лохань. Нет, мы хотим сейчас и эту! Бабушки наши в конце концов сдавались, и мы хватали горячие початки и натирали их крупной каменной солью. Кукуруза была очень плотной, почти безвкусной, мясистой и жестковатой – ни в какое сравнение с нынешней, сладкой и нежной. Но вкуснее той кукурузы не могу представить. На пляже всегда было много народу – негде расстелить полотенце. Мы строили что-то из песка, неохотно заходили в море, а потом еще более неохотно из него вылезали – это называлось «до синих губ». Бабушки растирали нас полотенцами и совали в руки по «фруктине». С пляжа шли медленно – от солнца и воды уставали. Обедать нас загоняли – а есть совсем не хотелось, тем более после винограда, сладких персиков, кукурузы. Но бабушки были неумолимы – не дай бог, дитя похудеет! Хотя бы – на грамм.

Фотография тех лет под названием «Завтрак». На переднем плане – тарелка, скорее – миска. Именно миска – не мисочка! А в ней – рыночный творог. Вернее – гора творога. Масса на полкило, и никак не меньше. И все это великолепие полито жирными сливками (процентов, думаю, сорок, не меньше; меньше на рынке просто не было), приправлено клубникой или другой «фруктиной», присыпано орешками – для калорийности, а еще для чего? А за миской – ребенок. Несчастный ребенок шести лет от роду, то есть я. На лице моем, тогда еще – на личике, – гримаса отчаянья, страха и боли. Как это съесть? Немыслимо. Еще на лице ужас от предчувствия рвоты. А съесть надо! Иначе… Мама в этих вопросах не уступала. Ребенка требовалось откормить. Привезти в Москву эдакой… пышкой. Булкой румяной. Отрадой для глаза. Чтоб родня хвалила, соседи завидовали, прохожие всплескивали руками – красота-то какая!

Ну и мама старалась. А я – я страдала. Потому что еще будет обед, за ним полдник, а следом и ужин.

Есть я тогда ненавидела. Но – приучили! Это претензия к маме. Обвиняю и настаиваю – виновата она. Я тут вообще ни при чем.

Летом я ездила в лагерь. Лагерь от маминой работы находился там же, в Пестово, на Рузском водохранилище, где был когда-то тоскливый и жуткий мой выездной детский сад. В целом лагерную жизнь я приняла – проблем с коммуникацией у меня не было, подружками я обрастала моментально, любила принимать участие во всяких смотрах и постановках, но условия проживания там были воистину дикими. Например, барак, где мы жили, никогда не отапливался. А холодных и дождливых дней в Подмосковье достаточно. Помню, как мы с девчонками мерзли и никак не могли уснуть – надевали на себя все имеющиеся кофты, брюки и свитера. Страшно, до кровавых ран, зажирали нас комары. Из средств защиты была одна «Гвоздика» – одеколон с мерзким, неистребимым запахом. Да и то, я думаю, это был миф. Воняла она возмутительно, а комарам было, похоже, по барабану. Тошнило от нее только нас.

Но самое страшное в лагере – туалет. Деревянный барак с дырками в полу. Хлорка шибала в нос и глаза – до слез, до тошноты. Хлорки никто не жалел. Ну и никакой интимности, приватности, уединения – все в ряд, как курицы на жерди. За тоненькой и щелястой стенкой – мальчишки. Подглядывают, ржут, улюлюкают. Дебилы.

Баня бывала раз в неделю – маленькая, тесная, душная. Нас торопили – на очереди был следующий отряд. Про все остальное никто не задумывался – что неплохо было бы, в принципе, принять душ и произвести процедуры личной гигиены, хотя бы раз в день. Зато зорко следили за чистотой не только помыслов, но и ног! Ноги – главная часть «организьма», как грустно шутил наш вожатый. Ноги мы мыли ежедневно в обязательном порядке. Прямо на улице располагался длиннющий стальной и бесконечный, метров на десять, «ногомойник» с ледяной водой. Там же чистили зубы. По желобу текла и пенилась серая вода с островками зубной пасты и мыла.

Еще один детский кошмар – утренние линейки. Сонные пионеры, мечтающие о теплой подушке, покачиваясь, с полузакрытыми глазами, стояли в ряд и отдавали салют. Гордо поднимался флаг, – а уж возможность его поднять считалась особой привилегией, это надо было еще заслужить. В столовой нас ждали блин остывшей манной каши и крутое яйцо. На ужине мы воровали хлеб и посыпали его крупной солью – съедали уже в постели перед сном.

В выходные приезжал автобусик с посылками. Родители присылали нам печенье, вафли, карамельки и яблоки. На все остальное почему-то было наложено строгое табу. В палате (так назывались наши «светелки») все это сваливалось в одну кучу и моментально съедалось.

Бывали еще и родительские дни. Приезжали родители с судочками, баночками, мисками и кастрюльками, уводили нас в лес, и там начиналось! Мы, разумеется, ни от чего не отказывались – оголодали. А что творилось с нашими животами назавтра…

Из хорошего были кино, танцы, редкие походы в лес и на озеро. Военная игра «Зарница» – это, скорее, из разряда смешного. Целая постановка с действиями – готовилась она долго, серьезно. Короче – войнушка. Ладно мальчишкам все это было интересно, а нам, девочкам? Перебежки, окопы, заложенные мины – не навоевалась еще наша страна?

Правда, имелось довольно много кружков – по вязанию, шитью, рисованию и лепке. Еще устраивали походы и картошку – посиделки возле костра, с разговорами и запеканием в золе этой самой картошки, которую неохотно давали, вернее, поштучно выдавали толстущие повара.

Костер на рассвете – это романтика.

И, конечно же, именно в лагере случались первые влюбленности и даже романы. Это происходило на танцах, их ждали все! Порядок был такой: день – кино, день – танцульки. Девчонки стояли у стенки и ждали, когда их пригласят. Мальчишки делали вид, что им по барабану всё – и танцы, и девочки. Самые смелые танцевали. Остальные глупо хихикали и толкали друг друга локтями. Девочки из старших отрядов менялись нарядами и воровато пользовались косметикой. Если вожатые засекут подкрашенные ресницы – неминуем скандал. Девицу клеймили позором и даже могли отправить домой. Но, конечно же, смелые продолжали «наводить красоту».

Делали мы и песенники – это была отдельная тема. В толстую тетрадь, обязательно в дерматине, записывались песни – желательно ровным, красивым почерком. Дальше – на что хватит фантазии и поделочного материала: вырезки из журналов, цветные карандаши, акварельные краски, цветы из открыток, фотографии знаменитых актеров. Песенники хранили как зеницу ока, ими хвалились, гордились, устраивали негласные конкурсы – у кого лучше. Песни переписывались.

Но как бы интересно в лагере ни было, домой все равно хотелось. Очень хотелось. Хотя думаю, что наше поколение – это поколение детей общественных, корпоративных.

В те годы было принято переписываться со сверстниками из соцстран – Болгарии, Польши, ГДР, Румынии. Где мы находили их адреса? Убейте, не помню! Кажется, был какой-то журнал, где и печатали адреса иностранных детей, жаждущих переписки со сверстниками. У меня история получилась другая – в поезде, по дороге на любимый курорт, я познакомилась с девочкой. Сразу было понятно – по каким-то приметам, в виде эластичной ленты на волосах и предметов туалета – девочка эта не наша. Разговорились, и точно – оказалась полькой, из Варшавы. По-русски она говорила прекрасно – полькой была только мать, а отец – из того самого городка на Азовском море, куда мы с ней направлялись. Конечно, мы обменялись адресами, и началась переписка. Как-то вечером, под самый Новый год, раздался звонок в дверь. На пороге высокий мужчина, весь в снегу – на улице метель, не видно ни зги, фонари за окном едва различимы, виден лишь слабый и желтоватый их отблеск. В руках у мужчины большая коробка.

– Это вам! – объявил он и, наотрез отказавшись войти, передохнуть и выпить чаю, исчез. Нам, ошарашенным, оставалось только растерянно попрощаться.

В комнате открыли подмокшую от снега коробку, а там – торт! Огромный, вафельный, шоколадный. Красоты неземной! Сверху замок из шоколада, шоколадные же фигурки, по-моему Кот в сапогах. И приложено письмецо от моей польской подруги – с Рождеством Христовым!

Знать бы еще, что это – Рождество? Про Ленина знаю, про Брежнева тоже. Про революцию. И про войну. А вот Рождество…

Прекрасный был сюрприз, неожиданный, вкусный, красивый.

Ели мы этот торт дней пять – такой он был огромный. Ну и подружек школьных позвала – вместе порадоваться.

Конец шестидесятых – начало семидесятых

В конце 60-х мои родители уехали за границу. С собой взяли только младшую сестру. Я осталась в Москве – в маленькой азиатской стране не было русской школы. Эти три года были наполнены тоской по сестре и родителям и еще – очень счастливой жизнью с бабушкой.

По субботам мы «гуляли» – торт-мороженое в картонной коробке с желтыми и розовыми украшениями. За отсутствием морозилки торт надлежало съесть весь и сразу. Что говорить – снова «свезло».

Часто на выходные я уезжала с ночевкой к друзьям родителей на Хорошевку. Жили они в двухэтажном особняке, построенном пленными немцами сразу после победы. Ох, и сейчас я не отказалась бы проживать в этом самом домишке – чудный, двухэтажный, он был рассчитан на четыре семьи: две квартиры на первом этаже и две на втором. Деревянная, крепкая, темного цвета лестница. Камин почему-то в прихожей. Из кухни – холодная кладовка метров на пять. Собственный палисадник с сиренью и жасмином. Неплохо, правда? И зачем эти чудесные дома снесли? Простояли бы они наверняка не один десяток лет. А

вместо них настроили типовые панельки – скучные, как понедельники.

С подругой Машкой мы возились в палисаднике – варили куклам обеды, укладывали их спать и купали в старом тазу. У Машки была «немка» Стелла, с ресницами, волосами и в кружевных трусах. У меня – моя верная, жизнью потрепанная, очень советская Зоя. Был в их семье и незнакомый предмет под названием тостер. Про такие штуки никто тогда и не слышал. В тостере Машкин отец поджаривал бородинский хлеб, и по всей квартире разносился восхитительный запах. Мы усаживались у телевизора и поедали подсоленные черные гренки. А по ночам трепались с Машкой о жизни. Я что-то бесконечно выдумывала, а доверчивая подруга верила в мои бредни.

Перед сном мне хотелось плакать: Машка с папой и мамой. А я? Наутро спешила домой, к бабушке.

Родители вернулись через три года. Мы встречали их в Шереметьево, и я вглядывалась в толпу, стараясь скорее увидеть сестру и маму. И вот вышла мама и всех ослепила! У меня замерло сердце – какая же она красавица! И как я соскучилась! Помню огромные бирюзовые серьги, плавно покачивающиеся в ее ушах, и коричневый замшевый плащ. Пахло от нее восхитительно – это был не только запах французских духов и нездешней, заграничной жизни – это был запах мамы.

Первая ночь после приезда, включен только ночник. Я сплю на диване с сестрой, крепко ее обнимаю. В голове проносится мысль – как же я счастлива! За столом мама и бабушка, которые никак не могут наговориться – почти три года разлуки. А возле дивана – коробки, пакеты с подарками. И самое главное – целая сумка жвачки! Мама и сестра наконец-то рядом. На стуле висит красная кожаная юбка – подарок. На тумбочке – тоненькое колечко с бирюзинками. Мое! Первое золотое колечко. Мама купила его в аэропорту за четыре доллара. Господибожемой, счастье! Какое же счастье!

Есть и еще одна новость. И, увы, не самая приятная. Родители заработали на кооперативную квартиру, а это означает, что с Сокола мы уедем во вполне обозримом будущем. В общем, меняется вся жизнь. Переворачивается. Все теперь будет другим: школа, двор, учителя, подруги.

И как я это переживу? Пока – ждем. Ждем, когда построят наш новый дом. Новый дом, «у черта на куличках» – по бабушкиным словам, в новом районе на юго-западе Москвы. Раз в месяц ездим туда – смотреть, как идет стройка. Идет. А куда она денется? Считаю этажи – чем выше, тем меньше мне остается привычной жизни на старом месте. Грустно и хочется плакать. Бабушка тоже восторгов не разделяет – снова выселки, снова даль. Правда, метро, но до него еще надо дойти! Прорваться, пробуриться, дошкандыбать. Все перерыто, перепахано и разрыто, сплошные траншеи – строительство, новый район.

И было все это, кстати, еще лет тридцать назад.

Многие годы мама моя «прорывалась» к метро, как сквозь чащу, – в резиновых сапогах. В пакете были модельные, в метро она торопливо переобувалась.

Новая квартира, Юго-Запад

Наконец, въехали в новый дом. Там уже вовсю шел ремонт – переклеивали обои, циклевали паркетные полы и перекладывали кафельную плитку.

Мама бегала по магазинам – шторы, светильники, мебель и прочие радостные и «украшательные» штучки. Она вила свое первое гнездо.

Рады были все: наконец-то закончилась коммунальная эпопея – у нас будут свой туалет, своя ванная и своя кухня, и никто не залезет грязными лапами в кастрюлю с борщом.

Тосковала одна я – как я буду без своих девчонок? Без любимых учителей? Без катка во дворе? Без кинотеатрика «Дружба», что в десяти минутах ходьбы, в который мы правдами и неправдами пробирались на фильмы «детям до шестнадцати запрещено»? Без парка, где мы зимой катались на лыжах? Без Поселка художников, где прошло мое детство и который я знаю как свои пять пальцев. Без всего того, к чему привыкла и без чего, как мне кажется, я просто не смогу дальше жить.

Еще года полтора после переезда каждое воскресенье я ездила в старую школу и любимый двор. А потом привыкла – и ничего. Дети быстро приспосабливаются. Квартира, конечно, казалась нам раем: три комнаты – родительская, бабушкина и наша с сестрой.

На обоях в нашей комнате живут лукавые гномы. Мой письменный стол стоит у окна. Я смотрю в окно и вижу лес и овраг, занесенный снегом. За оврагом и лесом мелькает, вспыхивает огнями широкий Ленинский проспект – нечастые машины сливаются красными огоньками сигнальных фонарей.

Бабушка ворчала, что мы забрались на кудыкину гору и доехать до нас невозможно – больше никто к нам в гости не приедет! Глупости – гости прекрасно добираются до нашей «кудыкиной». Но у нас пока почти нет магазинов – только на первом этаже соседнего дома в двухкомнатной квартире лавка, как ее называет бабушка. В лавке продают хлеб, прогорклое темно-желтое масло сомнительного вида и качества и такую же колбасу грязно-серого цвета. Колбасу и масло заворачивают в толстенную коричневую бумагу – почти картон.

Всем, кроме хлеба, мы брезговали, и бабушка продолжала два раза в неделю за продуктами ездить в «город» – на Горького, в «Диету» или к Елисееву. Магазинов в новом районе не было долго – года три наверняка.

Я пыталась привыкнуть к новой школе, но там все чужое – настолько, что я горько плакала по ночам. Мне там активно не нравилось. И если бы не моя Танька…

Самое время сделать небольшое отступление, поговорить о женской дружбе. Мне смешно слышать, что женщины не умеют дружить. Жалко тех, кто уверен в этом. Пример «вечной» женской дружбы – моя мама и ее подруги. Они вместе семьдесят пять лет, с первого класса!

И я не мыслю жизни без подруг, без моих любимых «девок». Сколько бессонных ночей, разговоров и откровений. Сколько поддержки – моральной, душевной. Постоянное ощущение нутряной, отчаянной близости, снятой шкуры, уверенности, что нечего стыдиться, что тебя точно поймут. И никогда не попрекнут твоей слабостью, страхами и ошибками. Никогда не припомнят того, за что тебе стыдно и горько.

А те, кому не повезло, – что ж, значит, не тех друзей выбирали.

Точная фраза – подруг много не бывает. Приятелей, друзей – пожалуйста! А вот подруг…

Девочки мои, Ленуся и Танечка! Спасибо вам за терпение! За помощь – любую – спасибо! Спасибо за верность, за честность. За то, что в самое-самое сложное время, когда жить не хотелось, в самый непроходимый мрак вы были всегда рядом! Вы были тактичны, безмерно добры и… увы, страдали вместе со мной.

Дружбе нашей так много лет! Сорок шесть с Танюлей. Полных тридцать – с Ленусей. Вы руки мои – правая, левая. Любимые соавторы моей жизни. Будьте только здоровы!

Юлька, Натуля, Олесенька, Валерочка! Я вас люблю, и вы это знаете!

И я знаю точно – что если… Да не дай бог! Но – вы всегда будете рядом.

Но вернемся к нашей истории.

Учиться в новой школе мне быстро расхотелось, не было никакого желания вовлекаться в учебный процесс. И иногда мы позволяли себе сбежать с четвертого или пятого урока. Маршруты были такие – кинотеатры «Казахстан» или «Звездный», сладкие слоеные язычки с газировкой там же, универмаг «Москва» на Ленинском – так, поглазеть, магазины «Варна», «Власта» и «Ванда» – волшебный мир социалистических и дружественных нам стран.

Деньги иногда были – Танькин дед баловал любимую внучку или меня родители радовали. У кого были, на те и гуляли, никогда не считались. Покупали блеск для губ, дезодорант или духи – ну, на что хватало.

По выходным ездили в центр, на Горького. Вожделенными местами там были кафе «Космос» и «Московское». В последнем было совсем круто – там собиралась модная студенческая тусовка: коктейли, черный кофе, пирожные. Мороженое в «Космосе» было красивым и вкусным, подавалось оно в вазочках или высоких фужерах-креманках.

Попроще было кафе «Север» – публика туда заходила разная, не только «джинсовая», вожделенная, студенческая. Да и попасть туда было проще – в «Космос» и в «Московское» стояли огромные очереди.

Классе в восьмом к нам пришли немцы – в нашем районе были построены дома от гэдээровского торгпредства и посольства, а вот школу для немецких детей построить еще не успели, задержали. В каждом классе их оказалось человека по три или больше. Мы смотрели на них, как на инопланетян. Дружить с немцами было почетно и круто. Многие очень старались. Но только не мы. Нам с Танькой и друг с другом было неплохо. Тем, кто приблизился к немцам, конечно же, перепадала какая-то мелочь, очень ценная для советского подростка, – ластики, карандаши, что-нибудь из косметики или сладостей, например «резиновые» конфеты.

Потом «наши» немцы кое-что смекнули и развернули торговлю. Бизнес довольно быстро был налажен, и дело пошло – немецкие комсомольцы и пионеры с синими галстуками торговали поношенными джинсами, майками, обувью и прочим личным барахлом. А наши радостно все это скупали и за ценой не стояли. Всем хотелось чего-то яркого, модного, заграничного.

Сабина, немка из нашего класса, оказалась человеком открытым и добрым – ну совершенно русская душа. Иногда она привозила нам, близким приятельницам, тем, кому симпатизировала, что-нибудь из Германии. Так что проблемы нарядов как-то решались. Еще было принято меняться. Поносишь какую-нибудь шмотку и – поменяешься с подружкой. И у нее обновка, и у тебя.

И потом, мы были такие юные, такие стройные и прекрасные, что не тряпки нас украшали, а мы их. Чистая правда!

Кстати, в десятом классе наша Сабина родила ребенка от мальчика из соседнего класса. Скандала не было – роды пришлись на самый конец учебного года. Наши скандалить не решились – ну раз уж немцы молчат! Помню, зашли мы к Сабине навестить ее после роддома. А в доме радость! Не горе, а счастье! Бабушка с дедушкой носятся с младенцем, внучкой Наташкой. И все улыбаются.

Главной мечтой советского подростка были, конечно же, джинсы. На все остальное было наплевать, но… джинсы! Мама дорогая! Это была мечта.

Марки мы знали три – «Ливайс», «Ли» и «Вранглер». «Ли» были попроще, а «Ливайс» и «Вранглер» – за пределами возможного!

Стоили они баснословных денег – от ста пятидесяти рублей и выше. А это месячная зарплата, между прочим. И не самая маленькая. Так что оставалось только мечтать. Джинсы носились по многу лет, по пять или больше.

Кстати, первые джинсы я купила на втором курсе, скопив несколько стипендий. Было это так – мой приятель, одногруппник, взял меня к очень важному человеку. Дело это было опасное – для нас и самого хозяина. Впускались только свои. Хозяин был фарцовщиком. Подозреваю – достаточно крупным. Из чего я сделала этот вывод? Квартира его была наполнена товаром. От пола до потолка стояли коробки, пакеты, ящики и мешки. Ну, просто пещера Али-Бабы, не иначе!

Хозяин понимал, что студенты – народ бедный, почти нищий, и пришли «за одним наименованием», он так и сказал. А потому он особенно и не старался – был сдержан, надменен и все время смотрел на часы. В квартире царил полумрак.

– Джинсу, – коротко бросил мой друг и грозно добавил: – Чтоб не фуфло!

В смысле – не барахло какое-нибудь, не подделка.

Хозяин окинул меня опытным взглядом, вздохнул, пошуровал в загашниках и наконец вытащил.

Они были великолепны, эти портки! Темно-синие, местами белесые, а главное – с рыжей кожаной оторочкой на карманах и молнии.

– Рупь с полтиной, – небрежно бросил хозяин.

То есть – сто пятьдесят. А у меня в сумке ровно сто сорок. Десятка – огромные деньги! Может, уступит?

И началась торговля – долгая, утомительная, нудная. Ну и сторговались. По-моему, мы просто очень надоели хозяину. Он, кстати, здорово нервничал – видимо, ждал крупную рыбу – сома или щуку, а нас, пескарей, презирал.

– Ладно, хрен с вами! – раздраженно бросил он. – Навару с вас, шелупони, никакого! Одни потери.

Выходя из подъезда, мы столкнулись с парой – пышная, красивая дама в роскошной шубе сияла бриллиантами. Респектабельный мужчина тщательно проверял дверцы бежевой «Волги» – надежно ли закрыты?

Мы с приятелем переглянулись – переживать за фарцовщика, видимо, не стоило.

У многих в те времена был «свой» мясник, «своя» косметичка, «своя» тетка в билетной кассе, «свой» автомеханик и «своя» девочка в галантерее.

Они и были «хозяева» жизни – те, кто мог достать, отоварить, вынуть из-под полы, провернуть, обменять. Банщик в Сандунах был важнее профессора, так он себя ощущал. И к банщику, и к автомеханику, и к хорошей парикмахерше, и к кассирше в театральных или авиакассах все шли на поклон: актеры, ученые, писатели и врачи.

Блат – чисто советское изобретение: полезные знакомства, связи в обход общепринятых правил. И было это противно.

Ну, а у кого таких полезных знакомств не было? Выкручивались как могли. Голь, как говорится, на выдумку хитра.

Все тогда умели вязать и шить. В доме тканей на Ленинском покупался дешевый материал, как правило, черного цвета. Выкройки девчонки перерисовывали на кальку и передавали друг другу. Кроили и – вперед! Тогда были модны клеши от бедра. И даже я, человек, далекий от портняжного дела, шила себе эти «от бедра» за пару часов.

Шили мы и ситцевые юбки «слоями», украшая их полосками кружев. А еще кофты-«распашонки», тоже из пестрого, с цветочками, очень дешевого (пятьдесят три копейки за метр) ситца. Вырез обшивали кружевом, подкрашенным в чайной заварке. Кружево получалось кремовое, цвета топленого молока. Потом пришли юбки-бананы. Выкройку брали из «Бурды».

Хуже было с обувью – то, что предлагал отечественный легпром, было кошмаром. Иногда «выкидывались» польские или чешские башмаки. А главным трендом был немецкий «Саламандер», «Саламандра», как его называли. Фирма существует до сих пор, я как-то зашла в их фирменный магазин. Стало смешно и грустно – эта унылая стариковская обувь (фасоны и дизайн почти не поменялись) казалась нам когда-то верхом элегантности и совершенства.

Была еще такая штука, как «Березка». В смысле – магазин. Там было много прекрасных товаров – от нижнего белья и косметики до дубленок. Но продавалось все это волшебство за валюту. Точнее, за чеки. Было и такое извращение. Чеки платили гражданам, работавшим за пределами родины. Чеки были разные – полосатые и бесполосные. Вторые считались самыми крутыми – платили их тем, кто «отбывал срок» в капстранах. На полосатые же можно было купить товары попроще, да и выбор был пожиже.

Чеков у нас почти не было – на них после загранкомандировки купили машину, давнейшую мечту отца. Но кое-что все-таки оставалось. Помню, как мама купила мне куртку – темно-синюю, болоньевую, стеганную мелкими стежками, на молнии и с капюшоном. Оказалась она всесезонной – легкой, теплой, непромокаемой.

Поскольку мы жили вблизи Ленинского проспекта – а это правительственная трасса, – нас часто сгоняли встречать. Кого? Да кого придется! Кто сподобился приехать к нам с важной миссией. В основном глав разных стран – Африки, Востока, соцлагеря. Помню, как встречали генерала Бокассу, а позже узнали, что этот друг Советского Союза был людоедом. С уроков снимали не только нас, подростков, в наших нестройных рядах были и студенты, и служащие. Школьники принимали это за счастье – снимают с уроков! Да и служащие, и студенты, думаю, были рады не меньше, чем мы. Наша задача заключалась в том, чтобы выстроиться вдоль проезжей части и махать бумажными флажками дружественной страны. Ну, мы и махали! Демонстрировали радость.

Представьте – плотная людская стена: Ленинский – самый длинный проспект столицы, простирается от Окружной до Октябрьской. Сколько согнано народу? Сколько людей сорвано с рабочих мест, лекций, уроков? Да наплевать! Дан приказ – и мы машем! Завуч кричит, срывая голос и пытаясь нас всех собрать, вернуть после мероприятия на уроки. Потом, отчаявшись, чапает к гастроному – магазины на Ленинском хорошие, а вдруг удастся что-то достать? А мы, ленивые

балбесы, конечно же, счастливы.

Вот такие курьезы и маразмы соцсистемы. Теперь это кажется нелепостью, бредом и сюром. А тогда это была просто жизнь. Обычная жизнь. Советская.

Класс у нас собрался неплохой – «врагов» и стукачей я не помню. Все мои одноклассники были из семей примерно одного достатка – за редким исключением. Дома почти все кооперативные. А кто тогда мог себе это позволить? Преподаватели вузов, научные работники, дипломаты, торгпреды и, конечно, работники торговли! Однажды одноклассница – дочка директора ювелирного магазина – пригласила меня в гости. Там я и обомлела – «богатая» мебель, в лаке и завитушках. Три цветных телевизора (обычно тогда было по одному и не больше – и то далеко не у всех). Удушливый запах кошатины. Куча ковров – на стенах, полах и диванах. Хрусталь, хрусталь и снова хрусталь. В хрустальных ладьях – горы шоколадных конфет – да каких! – такие у нас только по большим праздникам, только в заказах. А тут! Одну развернула – белая, «заиндевевшая», твердая, как кирпич.

Хозяйка махнула рукой:

– Да не едим мы все это! Надоело.

– А зачем лежат? – удивилась я.

– Для красоты! – ответила мне, непонятливой, моя одноклассница.

И все же моя новая школа любимой не стала. Учителя были… обычные, довольно посредственные, без «огня». Имелись, конечно, исключения – например, учительница по литературе Татьяна Николаевна. Сильная англичанка – Тамара Васильевна.

Любимая тема пожилой исторички – съезды компартий. Об этом она могла рассказывать часами, упиваясь цитатами из «дорогого Леонида Ильича». Естественно, ее никто и не слушал – все занимались своими делами. А она искренне расстраивалась и удивлялась:

– Вам что, правда, неинтересно?

Мы дружно вопили:

– Не-а!

И она начинала плакать. Горько так плакать…

А мы – естественно, ржать. Дети – народ жестокий.

Случилась однажды у нас дикая история. В классе девятом, если не путаю, наши одноклассники влюбились друг в друга. И девочка прекрасная, и мальчик замечательный. Мы относились к этому снисходительно и с пониманием. И вот экскурсия с классом в Ясную Поляну. Счастью не было предела – день весь не учиться! Погуляли по парку, посетили музей. Перекусили. На обратном пути заехали в Тулу, купили знаменитые пряники для подарка родным и поехали домой. Путь не близкий, все устали, вечер, темно.

На заднем сиденье автобуса сидели наши влюбленные. Она у него на коленях. Наверное, целовались и обнимались. Нам что за дело?

Классная наша, сухая и строгая химичка, смотрела на это с большим осуждением. А на следующий день разразился скандал. Классная назначила собрание – внеочередное, вроде срочного классного часа. Мы нехотя остались – страшно неохота было сидеть еще час в душном классе, очень хотелось на волю. И началось – пришла завуч. С гневной речью выступила наша химоза – заклеймила влюбленных позором, кричала про разврат, бесстыдство, позор и кошмар. Потребовала исключения ребят из почетных рядов комсомола. А чем грозила потеря комсомольского билета накануне поступления в институт? Всем понятно – без шансов. Учились наши «любовники», кстати, прекрасно. Сидели они ни живы ни мертвы. А остальные? Кто-то так и не вышел из оцепенения, большинство равнодушно занимались своими делами.

Слово взяла комсорг класса – кстати, совсем неплохая девчонка. И тоже принялась клеймить и обличать.

Никто – никто! – из нас не поднялся и не решился сказать: «Вы что, обалдели? Что же такого страшного, ужасного они сделали, что вы подвергаете их остракизму? Ну, сидела Таня на коленях у Толи! Ну, целовались. И что?»

Не встал и не защитил никто! Вот почему? Мы же прекрасно понимали весь бред происходящего! Прекрасно понимали, что ничего ужасного они не сделали. Сами мы уже вовсю целовались по подворотням. Нам было сначала дико, а потом даже смешно слушать весь этот бред. Мы очень хотели домой. Стыдно за это по сей день. Не могу забыть.

И снова маразмы тех лет…

Не разрешалось носить сережки, даже самые скромные, да других просто не было. И косметика не разрешалась, и лак. И мальчишкам нашим мерили волосы линейкой – а модны тогда были длинные, «под битлов».

А однажды случился на корабле нашем бунт – мои одноклассники обрились наголо, все как один. Такой вот протест.

В десятом мы дружно выщипали брови – мода такая была, брови в «ниточку». Ну и огребли – тоже по полной. Конечно, за пределами школы все красились, покуривали, пили винцо. Надевали каблуки и брюки «от бедра». Но только за порогом родного учебного заведения.

А значительно позже, лет через семь после того, как мы окончили школу, она волшебным образом преобразилась – преподавать историю был приглашен Алексей Венедиктов. Тот самый, главный редактор «Эха Москвы».

У него училась и моя младшая сестра. Помню, как она пришла домой и сообщила (без восторга, надо сказать), что Алексеич – так они его звали – велел выучить Мандельштама и Гумилева. Слава богу, книги эти у нас дома были. Мы с мамой переглянулись.

Вместе с Венедиктовым в школу пришли еще несколько молодых учителей-мужчин: физик, литератор, математик. Они были полны энтузиазма, сил и прекрасных стремлений. Ходили с ребятами в походы, устраивали вечера

поэзии, бардовской песни. Ставили спектакли. Как много дали они своим счастливым ученикам, как многое объяснили. Что говорить – повезло.

Воспоминаний о детстве много. Много хорошего, есть и плохое. И все же – чудесное свойство памяти – стирать негатив.

Отлично помню частые выезды с родителями в лес за грибами и на рыбалку. Складной столик и стулья, которые никогда не вынимались из багажника машины. Мы мотаемся вокруг стола и выклянчиваем пирожок или кусок хлеба – проголодались. Мама тщательно сервирует походный обед – миски с котлетами и салатами, термос с чаем, печенье, испеченное накануне.

В лесу звенит прохладный осенний воздух. Между почти уже голыми ветками серебрится легкая, прозрачная паутина. Небо голубое, без облачка, чистое, но холодное, отстраненное, конец сентября. Разноцветье осенних листьев – оранжевых, желтых, бурых, карминных. Пахнет влажной грибницей, прелыми листьями, лесом и мхом. Немного подмерзли в резиновых сапогах ноги, гудят над ухом последние комары, и еще очень хочется спать – подняли нас возмутительно рано, в шесть с небольшим. И это, представьте себе, в воскресенье!

Майские праздники. Прохладно и даже холодно – особенно по вечерам. Мы едем в охотхозяйство к отцовскому другу, километров за сто или больше. Хозяин небольшого охотничьего домика, скорее избушки, с восторгом объявляет, что «пошли сморчки». Что такое сморчки, мы не знаем, но идем в лес вслед за ним. Видим под елками совсем необычное и смешное – вроде бы и грибы, а по виду – и нет. Нечто сморщенное, скукоженное, изрытое извилистыми бороздками, похожими на глубокие морщины. Собираем полное ведро. А вечером ужин – сморчки под сметаной. Изысканнейшее блюдо – нежный, духовитый запах и чудный, чуть сладковатый вкус.

После походов в лес мы дружно чистили грибы на нашей маленькой кухне. На плите уже кипел большой чан, куда мама закидывала «продукт». А запах стоял такой, что кружилась голова.

Ездили мы и на рыбалку – недалеко, на Нару, километров за шестьдесят. Брали с собой походную кастрюльку, треногу, картошку, лук и морковь. Попадалась,

конечно же, мелочь – плотва, карасики, уклейки и голавли. Но уха из них, да еще и на природе, в лесу, была сказочной. По дороге в деревенском магазине покупали теплый местный серый хлеб – в простонародье «кирпичик». Вот и шла эта нехитрая ушица с теплым «кирпичиком» – ох, красота!

Новый год – конечно, самый любимый из праздников, особенно в детстве. Пахнет елкой, которую мы только вчера нарядили. Свежая елка была обязательно – никакого пластика, никогда. Пахнет мандаринами – за ними три часа отстояла наша несчастная бабушка. Пахнет и свежим огурцом – да, да! Достали один, и тот отправляется в салат, в оливье! Нет, не достали – купили на рынке. Цена бешеная, но – Новый год!

Ждем гостей. Пахнет пирогами – с капустой и с мясом. Сладкий уже под полотенцем – под неусыпным взором бабушки, не дай бог нам отщипнуть, отломить! Сладкий – это маковый рулет с изюмом. И, кстати, мак этот тоже пришлось доставать! Гости не входят – шумно и весело вваливаются, стряхивая с сапог и пальто снег. Узкий коридор завален обувью и одеждой – вешалка буквально обрывается. Все, что на нее не помещается, сваливают в нашу с сестрой комнату на кушетки.

Женщины пахнут духами, сверкают сережками, кольцами, мелькают голые плечи. Мужчины при галстуках и, кажется, тяготятся этим. Скатерть белая, парадная. Фужеры чешские, хрустальные.

Бабушка без сил, но бодрость духа не утеряна – в нашем доме любят гостей. Работает телевизор, и перед боем курантов все почему-то замирают и внимательно слушают осточертевшего всем генсека. Что нового он скажет? Да понятно, что ничего! И все же – все замерли.

Глупые люди! Мне кажется все это смешным.

Но праздника это не омрачает ни на минуту, потому что сейчас будет весело и вкусно, а завтра под елкой мы найдем подарки. И еще – наутро мы станем доедать то, что осталось от праздничного стола!

Если, конечно, что-то останется…

А впереди каникулы – целых десять дней. А это означает, что будут походы в театры, кино и на вечерний каток в Лужники, где катаются под «Мишель» «Битлз» и очень популярную тогда «Шизгаре» группы «Шокинг блю». А еще – кавалеры, кадрежка и круги вдоль арены.

Еще можно будет бесконечно слушать пластинки с любимыми «Цветами» Стаса Намина и Пугачевой.

И, конечно, мечтать о любви.

И будут наши вечерние прогулки с Танькой по району и поедание мороженых болгарских персиков из картонной коробки. Зубы сводит, а вкусно – лучше любого мороженого.

Дача летом – тоже счастье. И ничего, что не своя. Наплевать, что вредная хозяйка без конца повторяет, что мы с сестрой топаем как слоны. Дура. Тогдашние мы – абсолютные нимфы, воздушные и невесомые.

На даче у нас компания – соседские мальчишки от четырнадцати и старше. Мы с подругой Машкой влюблены в тех, кто старше.

Дача – это походы в лес и на речку, костры по вечерам, игра в «Кинга», гитара и местная библиотека, в которую я записана с самого начала сезона. В библиотеке – ветхом деревянном домике – пахнет пылью, книжной прелью и затхлостью. Но для меня это самый вкусный, самый родной и любимый запах. На столике стоит вазочка с полевыми васильками, их аромат смешивается с запахом сладких духов «Ландыш серебристый», которыми пользуется библиотекарша. В стакане кипятильник – она заваривает чай со смородиновым листом.

Я стою на шаткой лесенке и выбираю книги. Больше двух в одни руки не дают – об этом предупреждает суровый плакат, но у меня здесь блат, я могу взять три и даже четыре. Горячо благодарю строгую и милую тетеньку и тороплюсь домой – на улице дождь, красота! Сейчас я устроюсь на кровати со скрипучей панцирной сеткой, укроюсь потеплее и – счастье пришло! Я буду читать! Читать и похрустывать яблочком – удалось парочку стырить, сорвать в огромном хозяйском саду, пока шла от калитки.

Зимой, в выходные, особенно если везло с погодой – солнечный, морозный денек или ранний весенний, – ездили по Подмосковью, в музеи, бывшие усадьбы: Абрамцево, Кусково, Мураново, Архангельское, Ясную Поляну, Клин.

Больше всего я любила Архангельское, бывший дворец Юсуповых. Тогда еще был открыт и сам дом. Помню, как скользили войлочные безразмерные тапки на гладком, словно каток, наборном паркете, и я представляла себя юной красавицей-княжной на балу. Был прекрасен и парк со скульптурами, беседками, гротами. Хорош он был в любое время года – под белоснежным снегом, под одеялом опавших разноцветных листьев, под изумрудно-ярким летним газоном.

Счастье – это поездка в Таллин к любимым тетушке и дядюшке, к сестре. Выезжали мы рано утром – очень рано, часов в пять. Ужасно хотелось спать. В машине мы с сестрой дремали, прислонившись друг к другу. Но бабушка спать не давала – распевала романсы. А слух у нее… а голос! Китайская пытка. Просим ее замолчать, а она – опять запевает. Точнее – скрипит. Потом объяснила – не из вредности, боялась, что отец уснет за рулем.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/mariya-metlickaya/mozhno-ya-pobudu-schastlivoy-kupit

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити